



БЫВШАЯ ЖЕНА
ВАМПИРА,
КОТОРУЮ ОН
НЕ ОТПУСТИЛ

Александр Витальев

Александр Витальев

**Бывшая жена вампира,
которую он не отпустил**

«Автор»

2026

Витальев А.

Бывшая жена вампира, которую он не отпустил / А. Витальев —
«Автор», 2026

Каэл, темный вампир, которого весь клан считает изменником, когда-то выбрал не Астрид, а брак по крови с чужой невестой, и она ушла, сохранив только коробку с лечебными травами и гордость. Теперь она открывает маленькую лечебницу в приграничном городке, учит магическому травничеству двух сирот и впервые сама ведет хозяйство. Прошлое возвращается в ту же ночь, когда на ее запястье вспыхивает старая брачная печать: Каэл ранен, клан охотится на него, а значит печать начинает жечь и ее. Единственный способ снять метку требует его присутствия в доме, который она уже считала своим, и каждую ночь он стоит ближе, чем она готова простить. Что важнее для бывшей жены вампира: свобода, ради которой она ушла, или правда, которую он прятал под изменой?

Содержание

Глава 1. Обряд у стола	5
Глава 2. Ключ от кухни	11
Глава 3. Чужие духи	17
Глава 4. Общий обед	24
Глава 5. Печать на ладони	31
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Витальев

Бывшая жена вампира, которую он не отпустил

Глава 1. Обряд у стола

Чернила на письме пахли чужими духами. Я узнала этот запах раньше, чем разобрала подпись: тяжелый, медовый, с привкусом вялой розы. Такими духами Каэл пах, когда возвращался из башни в ту последнюю неделю, когда я еще верила, что он просто устает на совете. Я сидела за столом в кабинете, который три года называла нашим, держала лист обеими руками, потому что иначе пальцы начали бы трястись. Рядом стояла моя чашка с остывшим чаем, тарелка с хлебом, который я не доела, и сургуч, расколотый пополам.

Бумага была дорогая. Такой в Серой Башне не тратили на черновики. Почерк ровный, старательно красивый, с нажимом на каждой букве, будто писали не для меня, а для будущего летописца. "По договору крови между мной, Каэлом из рода Серой Крови, и Ингрид из дома Вельт, обряд вступает в силу с сегодняшнего вечера. Развод с прежней женой считать расторгнутым с момента подписи." Ни слова про меня. Ни обращения, ни извинения, ни клички, которой он звал меня на людях.

Я положила письмо на стол и разгладила ладонью. Сургуч на сгибе был алый, с отриском ворона, держащего в когтях змею. На моем запястье под рукавом кольнуло глухо, привычно. Печать. Та самая, которую кровный священник поставил мне в день свадьбы, когда я еще думала, что выхожу за мужчину, а не за клан. Теперь она просто тянула, как старая заноза в сырую погоду.

В кабинете пахло деревом и пылью. За окном переулочек тонул в синих сумерках, и факельщик, который всегда проходил в этот час мимо наших ворот, сегодня не появлялся. Внизу, в пиршественном зале, настраивали скрипки. Звук был тонкий и чужой, будто кто-то резал стекло.

Я встала. Ноги держали, спина тоже, и это, наверное, было самое страшное. Я могла бы упасть в кресло, закричать, разбить чашку — любая женщина в доме сделала бы именно это. А я посмотрела на письмо еще раз, сложила его ровно, по сгибам, и убрала в карман передника. Туда же, где лежал кожаный мешочек с монетами — последние, что я получила за лечение лихорадки у дочери кухарки. Десять серебряных. На дорогу до Сероводска хватит. На лавку — нет. На имя — тем более.

На верхней полке у зеркала, под вышитой салфеткой, стояла мамина коробка. Небольшая, кленовая, с латунной застежкой, которую я знала на ощупь. Внутри лежали сушеные травы, рецепты в воценой бумаге и маленький деревянный гребень, который мать носила в кармане до самой смерти. Я сняла коробку, прижала к себе. Тяжелая, пахла мятой и полынью. Больше от нее ничего не осталось — ни имени, ни прав, ни дома.

Внизу хлопнула дверь. Голоса — громкие, радостные, с тем особым смехом, которым смеются люди, когда уверены, что их не слышно. Каэл смеялся тоже. Я знала его смех лучше, чем хотела бы. Он смеялся так, когда ему было хорошо, а мне сейчас было так плохо, что руки на коробке побелели.

Я обошла стол и выдвинула нижний ящик. Там, под стопкой чистых листов, лежал мой саквояж. Маленький, кожаный, с инструментами: пинцет, две иглы, моток нитей, флакон спирта, корень алтея, свернутый в трубку. Все, чем я могла заработать себе жизнь там, где меня не знают. Я положила саквояж в коробку поверх трав, придавила гребнем и закрыла застежку.

Потом взяла с каминной полки браслет — тонкий, серебряный, с тремя маленькими опалами. Мамин. Не подаренный, а именно мамин. Я сняла его с запястья, сжала в кулаке. Вернуть его старьевщику, отдать за дорогу и первую аренду. Не жалеть.

На лестнице послышались шаги. Я знала эту поступь: твердая, с едва слышным шорохом дорогого сукна. Каэл поднимался в кабинет. Не торопился. У него сегодня был праздник.

Я подхватила коробку под мышку, прошла мимо его кресла, мимо подсвечника, который я протирала по утрам, потому что он любил чистое серебро. Ступени под ногами были вытерты до блеска чужими ногами. Я считала их, пока спускалась. Тридцать две. На тридцать второй остановилась.

Внизу, в пиршественном зале, горели свечи. Стол был накрыт на двадцать четыре персоны. На высоком месте, где обычно сидел глава рода, теперь стояла Ингрид. Невеста. Хозяйка. Ее волосы были убраны так, как любил Каэл: открытая шея, одна нитка жемчуга. Она улыбалась ему через стол, и он улыбался ей в ответ, и весь клан делал вид, что меня в этом доме никогда не было.

Никто не обернулся, когда я шла к черному ходу. Слуги стояли у стен, опутив глаза, и в их молчании было больше правды, чем во всем письме. Я толкнула дверь плечом, вышла в переулок, и холодный воздух ударил мне в лицо, как пощечина. За спиной глухо ударил колокол часовой башни: половина восьмого. Через час ворота Серой Башни закроются до утра.

Я шла быстро, коробку прижимала к груди обеими руками. На углу, у фонаря, стоял извозчик, кутался в рваный тулуп. Я назвала ему Сероводск. Он посмотрел на коробку, на мое лицо, на браслет в моей руке и кивнул. Серебро лежало в моем кулаке, и я знала, что к утру от него ничего не останется. Но к утру я уже буду далеко.

За спиной, в башне, зажгли последнюю свечу на столе новобрачных. Я не обернулась.

Мост кончился к рассвету, и я сошла у первой же корчмы, потому что лошадь больше не шла. Извозчик клевал носом на козлах, борода у него замерзла, и он не стал спорить из-за лишнего серебряного. Дальше я пошла пешком. Коробку несла по-прежнему обеими руками, прижимая локтем к боку, и каждый шаг отдавался в запястье тупой, ровной болью, будто кто-то тянул за нитку, вшитую под кожу.

Сероводск открылся мне грязной мостовой и запахом рыбы. Утро было серое, низкое, с туманом, который лип к юбке и не уходил. Я остановилась у моста, поставила коробку на парапет и пересчитала деньги. Семь медных, три серебряных, браслет в кармане. На дорогу ушло почти все. Хватит на угол в чужом доме, на еду на неделю и на первый взнос за лавку, если найду такую, где никто не спросит имени.

У моста сидели мальчишки, продавали копченую корюшку на листках газеты. Один из них, рыжий, с выбитым зубом, посмотрел на меня, на коробку и спросил:

— Лекарка, что ли?

— Лекарка, — ответила я. — Где здесь сдают комнаты?

Он замялся, почесал затылок, сказал, что за рекой, у вдовы Сольвейг, бывает, пускает на неделю за монету. Я знала это имя еще от матери: мать торговала с этой Сольвейг нитками и кружевом, когда нужно было платить за мое обучение. Город был маленький, и любая память здесь превращалась в долг.

Сольвейг встретила меня на пороге, вытирая руки о передник, смерила взглядом таким же тяжелым, как коробка в моих руках, и спросила прямо:

— От мужа ушла?

— Ушла, — сказала я.

Она кивнула, как будто ждала именно этого, и назвала цену. Угол в мансарде над швейной мастерской, койка, доступ к воде и к очагу утром. Я отдала два серебряных, последние из тех, что остались после извозчика. Третье зажала в кулаке и пошла по улице искать лавку.

Лавка нашлась к полудню. Она стояла у самого моста, с выбитой витриной и запахом старой краски. Хозяин, приезжий купец, уезжал на ярмарку и готов был отдать помещение на полгода за пять серебряных и починку крыши за мой счет. Я прикинула: три серебряных у меня, браслет потянет еще на два, если снести его к старьевщику до вечера. Крыша протекала в одном углу, но стены были сухие, а на заднем дворе стоял колодец с чистой водой. Для начала хватит.

Я вернулась к Сольвейг, попросила у нее иголку с ниткой и чистую тряпку. Она молча принесла и то и другое, поставила на стол передо мной и сказала:

— Марта, ключница у старого травника, ищет помощницу. У нее лавка через три дома от моста. Скажи, что от меня, она пустит переночевать.

Я поблагодарила, зашила подол, в котором по дороге распорол карман, и пошла обратно через мост. Туман к этому времени поднялся, и под мостом было слышно, как вода бьется о сваи, ровно и тяжело, будто кто-то мерно качает люльку. На запястье снова кольнуло. Я осталась посреди моста, перехватила коробку поудобнее и сказала себе: это холод. Усталость. Дорога. Не печаль.

Марта открыла дверь на мой стук, увидела меня, коробку, заплаканные от ветра глаза и не спросила ни имени, ни откуда. Она сказала только:

— Заходи. Ужин на плите.

В лавке пахло сушеной мятой, лавандой и старой сосной. На полках стояли банки с травами, подписанные ровным почерком покойного хозяина, на прилавке лежала раскрытая книга записей с медной застежкой, а на стене висел маленький образ святого лекаря, перед которым теплилась лампадка. Марта подвинула мне тарелку с кашей и сказала:

— Ешь. Потом покажешь, что у тебя в коробке.

Я ела. Каша была горячая, с маслом, и от нее внутри стало тепло, впервые за двое суток. Потом открыла коробку, разложила на прилавке свои травы, пинцет, нити, алтей, флакон спирта. Марта смотрела молча, трогала руками, нюхала, пробовала на язык сухой лист, и в глазах у нее появлялось то выражение, которое я хорошо знала по матери: узнавание.

— Училась у кого? — спросила она наконец.

— У матери, — ответила я. — И у одного мастера в столице.

— Имя?

— Не имеет значения. Она умерла.

Марта кивнула, подобрала с прилавка моток моих нитей, повертела в пальцах и сказала:

— Переночуешь здесь. Утром поговорим о деле.

Я кивнула. На запястье под рукавом кольнуло снова, сильнее, и я сжала зубы. Марта ничего не заметила, потому что уже отвернулась к плите. Я сидела на чужой кухне, ела чужую кашу, слушала, как за стеной возится маленький Ленни, и думала о том, что у меня теперь есть угол, еда и работа. Не имя. Не дом. Не свобода. Но угол.

Утром Марта показала мне лавку покойного мужа, его книгу записей, его долги и его кредиторов. Ленни, ее внук, восьми лет, рыжий и вертлявый, таскал меня за рукав и спрашивал, правда ли, что лекари умеют разговаривать с духами. Я сказала, что нет. Он не поверил.

К вечеру я занесла браслет старьевщику, получила два серебряных и полтинник медью, отдала хозяину лавки у моста последние деньги за первый месяц и поставила коробку на прилавок. Внутри лежали мамины травы, мой саквояж, гребень и письмо, которое я еще не решила, сжечь или оставить. Запястье ныло всю ночь, но я привычно списывала это на усталость.

Когда я легла наконец на узкую койку в мансарде над швейной мастерской Сольвейг, подо мной скрипели половицы, с улицы пахло рыбой и дымом, а где-то далеко, за мостом, за туманом, за лесами и холмами, в Серой Башне Каэл, наверное, впервые за долгое время спал спокойно. Я закрыла глаза, сжала под одеялом левое запястье и сказала себе, что завтра

начинается первая настоящая страница моей новой жизни. Она будет короткой и неласковой, и на ней не будет его имени.

Я проснулась от того, что запястье горело. Не ныло, не тянуло — горело, будто кто-то держал над ним раскаленную монету и медленно поворачивал, чтобы кожа сжарилась ровно. Я села на койке, закусил костяшку левой руки, чтобы не закричать, и посмотрела вниз. Рукав сорочки задрался, и под ним по коже ползла тонкая черная линия, похожая на раздавленного паука: такая же форма, такие же растопыренные лапы. Печать.

В Серой Башне мне говорили, что она спит, если развод оформлен по закону клана. В башне мне много чего говорили. Я сжала руку в кулак, и линия дернулась, словно почувствовала, что я смотрю. Потом стало тихо, только капала вода с крыши в жестянку у порога и где-то далеко, за мостом, кричала ночная птица.

Я встала, натянула платье, накинула платок и спустилась по лестнице. Сольвейг спала за стеной, дверь к ней была закрыта, и я прошла мимо на цыпочках. Улица встретила меня сыростью и темнотой, фонарь у моста не горел, и доски под ногами были мокрые, будто их только что вымыли. Коробка осталась в лавке у Марты — я не могла тащить ее через весь город в четыре утра, но без нее рука горела сильнее, и я подумала, что это не просто боль. Это зов.

У моста я остановилась. На той стороне, у перил, стоял человек. Высокий, в темном плаще, с капюшоном, надвинутым на лоб. Я знала эту осанку — слишком прямую, слишком ровную, как будто позвоночник у него был выточен из другого дерева, чем у простых людей. Каэл не двигался. Только когда я подошла ближе, он поднял голову, и я увидела его лицо — бледное, осунувшееся, с тенью у рта, которую я раньше видела только после тяжелых обрядов крови.

— Ты пришел, — сказала я. Голос прозвучал ровнее, чем я ожидала.

— Печать позвала, — ответил он. Тихо, без обычной мягкости. — Я думал, ты тоже.

Я посмотрела на его руки. Правая была обмотана грязной тряпкой, и из-под нее сочилось что-то темное. Не кровь. У вампиров кровь другого оттенка, гуще, и пахнет железом и горячим камнем. Так пахнет кровь, которой делились с кланом по договору, когда она отдана не по любви.

— Что с рукой? — спросила я.

— Клан взял свою цену за то, что я ушел из башни без разрешения, — он не отвел глаза, и я впервые за долгое время увидела в них не власть, а усталость. — Я пришел не за этим. Я пришел сказать, что печать жива. Развод был бумагой. Я не знал.

Я почувствовала, как внутри что-то холодное и тяжелое опустилось на дно. Я ждала этих слов два года. Ждала и боялась. Теперь, когда они прозвучали, мне не стало ни легче, ни больнее. Стало ясно.

— Ты думал, я уеду и она уснет? — спросила я. — Или ты думал, что я умру, и тебе не придется ничего решать?

Он не ответил. Только сжал здоровую руку в кулак, и я увидела, как побелели костяшки.

— Астрид, — сказал он. Имя прозвучало так, будто он пробовал его на вкус и оно показалось ему горьким. — Я не пришел просить вернуться. Я пришел сказать правду и предложить сделку.

— Сделку, — повторила я. — Ты пришел ко мне ночью, с раной, которая не заживет без моего дара, и говоришь о сделке.

Он не опустил глаз.

— Я пришел как гость. Я не войду в город без твоего слова и не войду в твой дом. Я стою на мосту и жду, пока ты решишь.

Я посмотрела на его руку. Тряпка уже насквозь пропиталась, и капли падали на доски. Рана не заживет, потому что он отдал кровь клану по принуждению, а клан забрал у него право

на исцеление до тех пор, пока он не вернется в башню. Я знала это правило. Знала и то, что без моей помощи он протянет до рассвета, а рассвет в Сероводске летом ранний.

— Если я помогу, — сказала я медленно, — ты уйдешь. Не в башню. Из города. Туда, где тебя не найдет ни клан, ни мой бывший муж, если он у меня когда-нибудь будет.

— Хорошо, — ответил он. Просто, без торга, без оговорок.

Я сняла с пояса флакон с мазью, который всегда носила с собой — материнская привычка, от которой я так и не смогла отучиться. Подошла к нему, взяла его раненую руку, размотала тряпку. Под ней оказался глубокий разрез, ровный, как по линейке, с черной каймой по краям. Клан режет своих меткой, чтобы кровь помнила хозяина. Я выдавила мазь на палец, нанесла по краям, не глядя ему в лицо. Он не вздрогнул. Только когда я завязывала чистой полосой, оторванной от подола платка, он тихо сказал:

— Больно.

— Должно быть, — ответила я. — Ты ведь тоже когда-то делал мне больно.

Он промолчал. Я отступила, спрятала флакон, вытерла руки о платок.

— Уходи, — сказала я. — Через северные ворота, до рассвета. Я не хочу видеть тебя утром.

Он кивнул. Надел капюшон, повернулся и пошел по мосту. Я смотрела ему в спину, пока он не скрылся в тумане, и только тогда почувствовала, как дрожат пальцы. Не от холода. От того, что печать на запястье впервые за всю дорогу замолчала, будто ей хватило того, что мы постояли рядом.

Я вернулась к Сольвейг, легла на койку, сжала руку в кулак и сказала себе, что первая настоящая страница моей новой жизни уже началась. И на ней все-таки было его имя.

К утру я уже знала, что не усну. Лежала на койке, слушала, как за стеной сопит Сольвейг, и пересчитывала в голове то, что осталось от прежней жизни: коробка с травами матери, флакон мази, серебряная ложка, зашитая в подол платья, и браслет, который я еще не сдала. На браслете держалась вся арифметика моего побега — дорога, аренда лавки у моста, первый месяц еды, взнос смотрителю Брониславу за право держать подмастерьев. Без него лечебница оставалась красивой вывеской над пустой кассой.

Я поднялась, натянула чулки, заколола волосы узлом, чтобы не мешали, и спустилась вниз. Сольвейг уже грела воду на очаге, и от нее пахло ромашкой и подгоревшим луком. Она посмотрела на меня, ничего не сказала, только поставила передо мной миску каши. Я ела молча, глядя в окно, где рассвет пробирался через ставни тонкими полосами, как нож через ткань.

— Пойдешь к мосту? — спросила она наконец.

— Пойду к старьевщику. Потом к смотрителю. Потом на рынок.

Она кивнула и подвинула мне хлеб. Я отломила кусок, сунула в карман и вышла. Утренний Сероводск пах рыбой, дегтем и навозом с тележных колес; под ногами хлопала вчерашняя грязь. Я шла быстро, чтобы не думать о том, что печать на запястье молчала уже второй час, и это молчание пугало меня сильнее, чем ночной жар.

Лавка старьевщика была еще закрыта. Я постучала в ставню, подождала, постучала сильнее. Изнутри раздался кашель, потом шарканье, потом узкие глаза в щели двери. Старик узнал меня не сразу, потом вспомнил, как я входила к нему позавчера, и лицо его стало осторожным.

— Браслет, — сказала я и положила его на прилавок. Серебро тускло блеснуло в утреннем свете, гравировка клана Ворона лежала вниз, чтобы не смущать.

Он повертел его, зацепил ногтем камень, поднес к окну.

— Дам половину цены, — сказал он. — С такой меткой в честный залог не отдашь.

— Метку можно сточить, — ответила я. — Серебро останется.

Он подумал, назвал сумму. Сумма была ровно та, на которую я рассчитывала: дорога, аренда, еда, взнос. Ни лишней монеты, ни недостающей. Я кивнула, пересчитала деньги на

пальцах, спрятала во внутренний карман. Браслет остался на прилавке — крошечный осколок прежней жизни, который я больше не могла тащить за собой.

От старьевщика я пошла к смотрителю. Бронислав сидел в своем кабинете при городском лазарете, за столом, заваленным реестрами, и пил травяной отвар. Увидел меня, отставил кружку.

— Рано, — сказал он.

— Деловито, — поправила я и положила перед ним мешочек с монетами. — Аренда лечебницы у моста за первый месяц и взнос за право учить подмастерьев.

Он пересчитал, не торопясь, записал в толстую книгу, поставил свою отметку. Потом посмотрел на меня поверх реестра.

— Подмастерья, — сказал он. — Двое сирот. Без отметки они казенные.

— С отметкой, — ответила я. — Вот она.

Он усмехнулся, не зло, скорее устало, и протянул мне копию записи в реестре. Я спрятала бумагу за пазуху, рядом с деньгами, и почувствовала, как плечи опускаются на полдюйма. Лечебница у моста теперь существовала не в моем воображении, а в городской книге, с моим именем напротив строки.

У выхода из лазарета я столкнулась с Тиной, ученицей Ника. Она несла корзину с банками, и одна из них шаталась на самом краю. Я успела подхватить, поставить ровно. Тина посмотрела на меня испуганно, как всегда смотрела на людей, и прошептала «спасибо». Я кивнула и пошла дальше, но голос догнал меня:

— Говорят, лечебницу у моста открывает та женщина. Бывшая вампирша.

Я остановилась. Не обернулась.

— Говорят, — ответила я. — А кто говорит?

Тина сжала губы и покачала головой. Я не стала настаивать. Мне было достаточно того, что слух уже пошел: значит, к обеду он дойдет до клана Ворона, а к вечеру — до Марты, которая будет ждать меня у лавки с ключом и вопросом, готова ли я платить по счетам, которые мне никто не выставял.

На рынке я купила у торговки змеевик, подешевле, потому что связки были пересушены, и договорилась с булочницей о хлебе за травы. Потом вернулась к Сольвейг, забрала коробку с материнскими запасами и пошла к мосту.

Марта ждала у двери. Ленни крутился рядом, вертел в руках деревянную лошадку и не слушал, когда бабка шикала. Марта увидела меня, увидела коробку, увидела бумагу из реестра, которую я ей показала, и впервые за неделю улыбнулась.

— Углы будут холодные, — сказала она.

— Углы мои, — ответила я. — Холод мне не указ.

Я вошла в лавку, поставила коробку на стол, сняла платок и повесила на гвоздь у двери. Внутри пахло сыростью и старой краской, но если открыть окна и развести огонь в очаге, через два дня здесь будет пахнуть чагой, мелиссой и чуть-чуть — дымом от моих собственных свечей. Я развязала тесемки коробки, разложила по полкам банки, поставила саквояж на нижнюю полку под прилавок, а гребень оставила у себя в кармане передника. Достала из-под прилавка грифель и записала в книгу первую строку: "Астрид, лечебница у моста, прием с утра". Почерк был ровный, без наклона. Имя стояло первым в книге, которую раньше вел чужой человек.

Я закрыла книгу, прижала ладонь к переплету и сказала вслух, негромко, чтобы слышали только стены:

— Теперь ужин. А завтра работа.

И это прозвучало почти как свобода.

Глава 2. Ключ от кухни

Ключ от кухни лежал на столе, как будто его забыли. Тонкая медная штука с царапиной на бородке, привычно холодная под моими пальцами. Я подняла его, повернула к свету. На обратной стороне была моя метка: маленький полумесяц, который я когда-то нацарапала шилом, чтобы не путать ключи кухни с ключами аптекарской кладовой. Чужая смазка на петле двери. Дверь теперь скрипела иначе, и мне было жаль, потому что эту дверь я чинила три года.

Я положила ключ обратно и пошла искать Марту.

Она была в подсобке, перебирала сухой змеевик. Ленни сидел на полу рядом, разложив вокруг себя мешочки с паклей, и считал их вслух. Я остановилась на пороге, и мы обе молча посмотрели друг на друга.

— Ключ, — я подняла медную штуку на ладони, — чей?

Марта вытерла руки о передник, посмотрела не на ключ, а на меня.

— Ты знаешь чей, — она сказала это тихо. — Хозяйка проверяла кладовую.

Я знала. Рина Вельт, племянница старейшины Эйдана, моя бывшая «подруга», которая теперь занимала комнату, которую я считала своей, проверяла кладовую моей лечебницы. Потому что считала, что имеет право.

— Я не хозяйка, — я сказала это ровно, без яда, и сама услышала, как это прозвучало. — Я наемный лекарь, Марта. Мне не платят за ключи от чужих кладовых.

Марта поджала губы.

— Платить тебе начнут после Падения Листа, — она отвернулась к полке, — если гильдия утвердит реестр. А ключи всегда были у хозяйки лавки. Ты сама знаешь.

Я знала. Я платила за уголь, за бумагу, за рассол, за мыло. Я варила микстуры, выхаживала подмастерьев, торговалась с булочницей за сухари. Я делала все, кроме одного: у меня не было имени в реестре гильдии, и поэтому ключ от кладовой мог взять любой, кто считал себя выше меня.

Ленни поднял голову от мешочков и посмотрел на меня снизу.

— Тетя Астрид, — он сказал это серьезно, — а можно я?

— Что — ты?

— Положу ключ обратно, — он протянул руку, и у него были перепачканные в пакле пальцы. — Скажу, что бабочка летала.

Я невольно улыбнулась. Потом перестала, потому что за его спиной в окно было видно, как на мосту останавливается палантин с гербом клана Ворона. Две черных птицы на сером поле.

Я присела к Ленни и тихо сказала:

— Пойди скажи Марте, чтобы она вышла к гостям. Не я. Марта.

— Почему?

— Потому что у Марты есть имя в реестре, — я проверила, ровно ли лежит платок на его плече, — а у меня пока нет. И я не хочу, чтобы клан видел, как я открываю чужую дверь.

Ленни убежал. Я выпрямилась, и меня качнуло, потому что запястье полыхнуло. Печать. Короткий удар, как будто кто-то с силой сжал мне руку ниже локтя и сразу отпустил. Я стиснула зубы и оперлась спиной о притолоку. Через секунду жар ушел, остался только холод в кончиках пальцев.

Каэл.

Он не мог войти. Договор клана с городом запрещал ему входить в мой дом без приглашения, и каждый шаг через порог стоил ему боли в позвоночнике. Я сама это подписала, когда мы с ним заключали фиктивный брак. Но печать реагировала на его кровь. Сейчас он был где-то рядом: у моста, у ворот, за углом. У меня не было выбора, кроме как это чувствовать.

Я подождала, пока выровняется дыхание, и пошла к черному ходу. Не к парадному, потому что парадное уже было занято.

В подсобке, за мешками с углем и стопкой дырявых горшков, которые я обещала зашпаклевать к Пятнице, сидел Каэл. Он сидел на корточках, и его кровь капала на мешковину, потому что он, очевидно, порезал руку о битое стекло, пока лез через окно, чтобы не нарушить договор.

Я увидела его, и меня сразу затошнило — от запаха его крови, от того, как печать снова дернулась, от того, как он посмотрел на меня снизу.

— Зачем ты здесь, — я сказала это не вопросом.

— Ключ, — он выдохнул, не поднимаясь, — от твоей кухни. Отдай мне ключ.

Я засмеялась. Я не хотела, но засмеялась. Получилось сухо, как треск льда.

— Ты пришел через битое стекло, — я поставила саквояж на пол, — за ключом, который я сама не имею права носить.

Он посмотрел на меня, и я впервые увидела, что он не знал. Он думал, что раз он мой фиктивный муж по документам, ключ от моей кухни — это его право. А я не знала, как ему объяснить, что в моей жизни документ и право давно живут в разных комнатах.

— Кровь, — я кивнула на его руку, — перевяжи, у меня нет бинтов.

И я вышла, оставив его сидеть в углу, на мешке с углем, в моем доме, в который он вошел через окно, чтобы не нарушить договор, оформленный на бумаге, которую я сама подписала. На запястье горело. Я перехватила печать другой рукой и пошла встречать Рину Вельт.

Рина Вельт стояла у прилавка, как будто он принадлежал ей по праву крови. Тонкие перчатки из серой кожи, герб клана на застежке плаща, запах чужих духов — холодных, миндальных, дорогих. Она улыбалась мне, и эта улыбка была хуже пощечины.

— Астрид, — голос мягкий, как шелк, — я зашла проверить, как ты устроилась. И забрать свою кружку. Я оставляла ее здесь, когда была замужем за Каэлом.

Я сняла фартук, повесила на крюк. Руки помнили, как эта кружка стояла на полке у окна, а теперь на ней была чужая метка. Я посмотрела Рине в глаза, не отводя взгляд.

— Кружка твоя, — я достала ту самую, с трещиной на ручке, — возьми.

Она не взяла. Она посмотрела на мои руки, на которых от воды всегда трескалась кожа, и сказала тихо:

— Ты так изменилась, Астрид. Раньше у тебя был дом. Теперь — лавка.

Ленни притих за моей спиной. Марта вышла из подсобки, вытирая руки.

— Доброго дня, госпожа, — голос Марты был ровный, как доска, — чем обязаны?

Рина повернулась к ней, оценивая. Марта стояла прямо, ключи от кладовой звякали у пояса — не от моей кладовой, от своей, — и Рина это поняла.

— Я пришла за своим имуществом, — сказала Рина, — кружка осталась здесь после моего брака.

— После твоего брака здесь ничего не оставалось, — ответила я. — Все забрали твои люди. Кружка — единственное, что я сохранила. Я не знала, чья она.

Рина посмотрела на меня так, словно я ударила ее на глазах у всего рынка.

— Ты лжешь, — сказала она.

— Я целительница, госпожа, — ответила я, — я не лгу. Я лечу.

Рина выпрямилась. Запах ее духов стал гуще, и я узнала в нем ноту — ту самую, что оставалась на воротниках Каэла в Башне. Я не вздрогнула. Не имела права.

— Я поговорю с Эйданом, — сказала Рина, — о твоей памяти. И о ключах.

Она вышла. Марта закрыла дверь на замок, два раза повернула ключ.

— Ты зачем с ней так? — спросила Марта.

— Потому что иначе она будет приходить каждый день, — я взялась за верстак, — и каждый день брать по одной вещи. Сегодня кружка. Завтра ключ.

Ленни подошел ко мне, прижался к боку. Я положила руку ему на голову, и он пах паклей и хлебом.

— Тетя Астрид, — сказал он, — а дядя Каэл к нам больше не придет?

Я не ответила. Я пошла в подсобку, присела рядом с Каэлом. Он все еще сидел на мешке с углем, перевязав руку обрывком рубашки. Кровь все еще капала, но медленнее. Печать на моем запястье пульсировала глухо, больно.

— Ключ, — повторил он, и я видела, как ему тяжело дышать.

— У меня нет ключа, — сказала я, — у меня нет имени в реестре. У меня есть руки, которыми я варю микстуры. Ключ — это право. У меня нет права.

Он смотрел на меня, и я впервые видела в его глазах не злость, не приказ, а что-то другое. Может быть, страх.

— Ты могла бы попросить, — сказал он.

— У кого? — я присела рядом, — у тебя? Ты порезал руку, лезя через мое окно. У Рины? Она только что забрала у меня кружку. У Эйдана? Он продаст меня клану за печать. У Дарена? Он прячется от всех, кто носит герб.

Я достала из кармана чистую тряпицу, разорвала на полосы. Перевязала его руку поверх его перевязки, крепко, по-лекарски.

— Я попрошу у гильдии, — сказала я, — через двадцать дней, после Падения Листа. До тех пор у меня нет ключа. И ты сюда не войдешь через окно.

Он не ответил. Я встала, отряхнула колени, пошла к двери. У порога обернулась.

— Кровь останови, — сказала я, — иначе я потеряю сознание. Печать.

Он кивнул. Я вышла, закрыла дверь. За стеной Марта считала мешочки с змеевиком, Ленни шептал ей числа. Я остановилась посреди подсобки, прижала ладонь к печати, и жар медленно отступал.

Через двадцать дней у меня будет имя. Через двадцать дней у меня будет ключ. До тех пор — кружка, которую забрала Рина, будет ей напоминать, что она была здесь. А мне напоминать — зачем я осталась.

За стеной кто-то ходил. Тяжелые шаги, не Марта, не Ленни. Я вытерла руки о передник, приложила палец к губам и кивнула Ленни в угол, к мешкам. Он послушался сразу, даже не спросил, потому что я успела его научить: когда я молчу, споров нет.

Шаги остановились у двери. Три удара — не стук, а приказ. Мой реестр лежал на столе, открытый на странице аренды. Я захлопнула его, прижала ладонью. Бумага хрустнула. За дверью молчали, и я молчала, и мы оба знали, что того, кто молчит первым, уже ждут в комнате.

— Целительница, — голос был ровный, с той вежливой тяжестью, которой учат в клане, — смотритель Бронислав. Реестровая проверка. Откройте.

Я встала, одернула передник. Печать на запястье дрогнула, но без жара — просто напоминание, что я живу в чужом доме по чужой бумаге. Марта подошла сзади, встала у моего плеча. Не для защиты, для счета: если что-то пойдет не так, она должна увидеть, кто первый двинул рукой.

Я открыла дверь. Бронислав стоял на пороге в парадной куртке, которую надевают только на чужой грех. За ним — два стражника в сером, с гербом города на пряжках, не клана. Городской смотритель пришел не один, и это означало не долг, а чью-то жалобу.

— Смотритель, — я отступила на шаг, — заходите. Чай не предлагаю, времени нет.

Бронислав вошел, окинул комнату взглядом опытного оценщика. Взгляд задержался на верстаке, где лежали пучки сушеного змеевика, на глиняной ступке с остатками порошка, на жестяной банке с отметкой гильдии. Я не прятала ничего, что могло бы его заинтересовать. Я прятала то, что его не касалось.

— Реестр, — он протянул руку.

Я подала книгу. Он раскрыл на закладке, прошелся пальцами по строчкам, будто читал не глазами, а кожей. Где-то за окном скрипнула телега, Ленни притих за мешками. Я чувствовала его взгляд и молилась, чтобы он не чихнул.

— Два подмастерья, — Бронислав поднял глаза, — без отметки о приписке.

— У меня есть отметка, — я ответила ровно, — на первой странице. Я платила взнос.

Он полистал назад, нашел. Почерк мой, сумма моя, печать гильдейского казначея — кругленькая, красная, с маленьким цветком в нижнем углу. Он ткнул в нее пальцем, посмотрел на меня так, будто я украла у него кошелек.

— Это взнос за право обучения, — сказал он, — а не за право содержать. Для содержания сирот нужен отдельный штамп. Я пришлю инспекцию через три дня.

— Через семь, — я сказала это не громко, — по регламенту гильдии о сиротах, раздел третий. Если откажете — я пошлю жалобу в гильдейский совет.

Он поджал губы. Стражники за его спиной переглянулись, и я не поняла — с ним они или против него. В этой части города никто не был только со мной и только против меня, все держались за середину, как за перила.

— Семь дней, — он закрыл реестр, не хлопнув, но с тем щелчком, который стоит дороже хлопка, — и если за это время появится жалоба от соседей, я вернусь раньше.

Я кивнула. Марта кивнула тоже, и я заметила, что у нее побелели костяшки пальцев. Когда дверь закрылась, она не сказала ни слова. Она подошла к столу, пересчитала мешочки на полке, и Ленни вылез из своего угла, поймал ее руку и прижался.

Я села на табурет. Печать под рукавом пульсировала ровно, привычно. Я прижала ее ладонью и стала думать.

Семь дней. За семь дней нужно либо найти штамп, либо спрятать Ленни так, чтобы он не мешал проверке. У меня нет серебра, чтобы купить штамп. У Марты — тоже. У гильдии есть ссудный фонд, но фонд дают только тем, у кого уже есть имя в реестре, а я как раз вне реестра, потому что без штампа.

Бронислав пришел не из-за бумаги. Он пришел, потому что кто-то постучал ему в плечо. Эйдан Вельт мог. Рина — могла. Ник, аптекарь через две улицы, мог и сам. Я уже знала, что такая проверка не случается из-за чужого чиха.

Я встала. Передник завязан, руки заняты. Ленни смотрел на меня снизу, и я впервые увидела в его глазах тот вопрос, который он боялся задать.

— Тетя Астрид, — сказал он, — нас отдадут?

Я присела перед ним на корточки. Провела ладонью по его вихрам. Под рукой у него были хлеб и пакля, и ничего больше.

— Нет, — ответила я, — нас никто не отдаст. Я им не позволю.

Он кивнул и не заплакал, и я поняла, что он мне верит. Я себе в этот момент — не очень. Но я дала себе слово: к концу недели у меня будет штамп, не купленный, а выпрошенный. У гильдии. По регламенту.

За стеной снова заскрипела телега, и я пошла к двери.

Я пересчитала мелочь на столе, разложив монеты по достоинству: серебро к серебру, медь к меди, два гнутых грошика отдельно. Их было ровно столько, чтобы хватило на дорогу до Сероводска, на первый месяц аренды крошечной комнаты над трактиром у моста и на миску горячей каши каждое утро. На новый передник уже не хватало. На лекарства для Ленни, если он снова заболеет, тоже не хватало. На обратную дорогу в Серую Башню не хватало втрое, и это было единственной хорошей новостью за весь день.

Я ссыпала монеты обратно в мешочек, туго затянула шнурок и спрятала в нижний ящик, под стопку чистых бинтов. Марта сидела напротив, перебирала сушеный змеевик и делала вид, что не считает вместе со мной. Она считала. Я видела, как у нее двигаются губы, и знала, что итог у нее вышел тот же.

— Ленни спать хочет, — сказала она, не поднимая глаз, — я его покормлю и уложу. А ты иди к Дарену. Сегодня. Завтра он будет в гильдии, а послезавтра — у клана.

Я кивнула. Дарен жил через три улицы, в каменном доме с узкими окнами и выцветшей вывеской поверенного. Он был единственным человеком в этом городе, который вел мои бумаги о разводе и знал, почему печать на запястье до сих пор живая. Он также был единственным человеком, который мог за небольшую мзду сделать так, чтобы эта печать перестала быть моей проблемой.

За стеной Ленни кашлянул — не сильно, но так, что у меня сжалось все внутри. Марта встала, пошла к нему, и я слышала, как она шепчет ему что-то про молоко с медом. У нас не было меда. У нас не было молока. У нас был фонарь, который я купила вчера на последние гроши, и я зажгла его, чтобы идти было не так страшно по темной улице.

Я накинула плащ, проверила, спрятан ли мешочек, и вышла.

Я постучала в дверь Дарена дважды — коротко и сухо, как стучат те, кому не нужны лишние уши. Замок щелкнул почти сразу, будто он стоял за ней и ждал не меня, а любого повода не спать.

— Входите, — сказал он, отступая в полумрак коридора.

Его кабинет пах пчелиным воском, старой бумагой и мятой, которую он жевал, чтобы не пахнуть вином. На столе горела одна свеча, и при ее свете я увидела, что реестр, который он мне показывал вчера, уже лежит раскрытым на странице о расторжении брачных уз клана Серой Крови. Страница была заляпана чернилами, и одна строка — про обряд разрыва — обведена красным. Я поняла, что он думал обо мне весь день.

— Садитесь, — он кивнул на табурет у стены, — только прямо, спина у вас уже не та.

— Спина у меня как у человека, который таскает мешки с травами, — я не села, а осталась у двери, — мне не о вашей спине говорить.

Он усмехнулся. Усмешка у него была старая, профессиональная, из тех, что он продавал клиентам вместе с печатями. Я знала, что он не злой. Я знала, что он боится.

— Деньги есть? — спросил он прямо.

— Половина, — я достала мешочек, положила на край стола, — остальное после суда.

— Суда не будет, — он покачал головой, — клан прислал мне письмо. Подписано Эйданом Вельтом. Если я внесу ваше дело о разводе в городской совет, они подадут жалобу в гильдию поверенных. Мне конец. Дому конец. Жене конец.

Я сглотнула. Где-то внизу, в животе, под рубашкой, печать кольнула меня холодом, как будто услышала его слова и одобрила.

— Тогда не вносите, — сказала я, — внесите только отметку о расторжении в мой личный реестр. Этого хватит, чтобы новый муж не смог на мне жениться без моей подписи. Этого хватит, чтобы клан не смог продать меня как невесту другому клану. Мне не нужен совет. Мне нужна бумага, которая говорит, что я свободна от их печати.

Он смотрел на меня долго, и я видела, как он считает в уме. Не деньги — риски. У него была дочь, которую он выдавал замуж через два месяца. У него был дом, который стоил дороже, чем все, что я могла предложить. У него была привычка жить тихо.

— Я внесу отметку, — сказал он наконец, — но не сегодня. Послезавтра. Сегодня ко мне придут люди из клана, и если они увидят, что ваше дело уже открыто, мне не уйти.

— Послезавтра меня могут выкинуть с учениками на улицу, — сказала я.

— Послезавтра вы можете прийти утром, до их прихода, — он подвинул мешочек обратно ко мне, — и тогда я внесу отметку. А эти деньги возьму после, если выживу.

Я взяла мешочек. Не потому что он мне вернул, а потому что поняла: если я оставлю их сейчас, он решит, что я ему не верю, и откажется.

— Хорошо, — сказала я, — утром, до их прихода.

Я шла обратно по темной улице, и под ногами хлюпала вчерашняя грязь. Печать под рукавом ныла ровно, без перебоев, как метроном в классной комнате. Я считала шаги до поворота, и на сороковом шаге увидела у моста фигуру в темном плаще. Он стоял неподвижно, и я узнала его по запаху — хвоя, кожа и чуть-чуть железа. Каэл. Он не должен был здесь быть. Он не должен был знать, где я живу.

Он не подошел. Только снял шапку, и в свете далекого фонаря я увидела его лицо. Бледное, осунувшееся, с тенью, которой не было раньше.

— Астрид, — сказал он тихо.

Я остановилась. Не потому что хотела, а потому что ноги отказали. Он стоял в десяти шагах, на нейтральной земле моста, и я впервые за месяц поняла: он пришел не за мной. Он пришел сказать что-то, что касается печати, и он не хочет, чтобы я узнала это завтра от чужих людей.

— Завтра, — сказал он, — приходи в Серую Башню. Одна. Не бери с собой детей. Не бери Марту.

— Почему? — спросила я.

— Потому что послезавтра тебя здесь не будет, — ответил он, — если ты не придешь.

Он надел шапку обратно, отступил в тень, и через минуту я услышала, как его шаги затихли за поворотом к реке. Я стояла на мосту, и печать под рукавом горела так, будто он только что держал меня за руку. Я прижала ее ладонью и пошла обратно к лечебнице, считать часы до утра.

Улица пахла дымом и мокрым камнем. Фонарщик уже прошел, но фонарь у дома Сольвейг еще горел, и я увидела ее силуэт в окне — она шила, не поднимая головы. Сольвейг была из тех соседок, которые никогда не спрашивают, куда ты идешь вечером, но всегда знают. Она также была из тех, кто никогда не угостит тебя лишним куском хлеба просто так. Хлеб у нее был, но за хлеб надо было что-то отдать.

Я ускорила шаг. Мне не хотелось останавливаться и объяснять, зачем я иду к поверенному по брачным делам. В этом городе любое объяснение становилось сплетней к утру, а сплетня — ценой, которую я не могла себе позволить.

У двери Дарена я остановилась и пересчитала монеты в уме еще раз. На дорогу обратно, на хлеб для Ленни и на половину взноса Дарену. На вторую половину — нет. Значит, мне придется либо торговаться, либо оставить ему что-то в залог. В залог у меня была только коробка с травами матери, и я поклялась себе, что не отдам ее ни за какие деньги.

Глава 3. Чужие духи

Книга долгов лежала на столе, раскрытая на странице, где Каэл расписался за меня. Чернила выцвели, но строка читалась: «супружеский долг клану — десять золотых в месяц, погашение за счет дома и имущества жены». Я провела пальцем по своему имени, написанному чужим почерком, и закрыла книгу.

В доме пахло копченой рыбой и холодным деревом. За окном трактирщик уже выкатывал бочку к вечерней смене, голосил про свежую уху, и никто из его гостей не знал, что я здесь считаю не уху, а то, что у меня осталось от прежней жизни. Коробка с материнскими травами стояла у двери, готовая к дороге. Я собиралась уезжать.

Сумма была простой и жестокой. Десять золотых в месяц, которые я никогда не видела, потому что Каэл платил из моего приданого, не спрашивая. Теперь, когда он женился на Рине Вельт, племяннице старейшины Эйдана, долг висел на мне одной. Платить нечем. Башня оформлена на мужа, украшения и серебро — на новой жене. У меня оставались коробка с травами, руки, которые умели лечить, и дорога, которая вела в Сероводск.

Трактирщик заглянул в комнату без стука, вытирая руки о передник. По глазам видно было: он уже знал. Весь город знал, что бывшая жена лорда Ворона ночует над его кухней и считает чужие долги.

— Хозяйка просила передать, — сказал он, ставя на стол кружку с чем-то горячим, — что за углом сдается комната с кухней. Дорого, но тихо. И без вопросов, на чье имя записывать. Я подняла глаза от книги. Кружка пахла мятой и дешевым медом.

— Сколько?

— Четыре серебряных в месяц, вперед. И еще серебряный за ключ, невозвратный.

Это были все деньги, что у меня оставались после продажи последнего браслета. Комната и ключ — и ни одного гроша на еду, травы, дорогу. Я посмотрела в окно, где на крышах лежал первый осенний иней, и впервые за месяц подумала ясно: мне нужно не просто уехать. Мне нужно выбрать город, где меня никто не знает, и начать так, чтобы обратной дороги не было.

— Где именно? — спросила я.

— У моста, где раньше аптекарский дом был. Хозяйка зовется Марта, муж у нее помер, она травницкая вдова. Возьмет ученицу, если та платит за постой работой. За лечебницу, не за кухню.

Лечебница. Мои руки, наконец, могут кормить сами себя. Я допила отвар и встала. Коробка с травами была неподъемной и легкой одновременно, как все, что мы уносим, когда уходим по-настоящему.

Я спросила:

— Марта берет сирот?

Трактирщик удивился. Он-то думал, что бывшая жена лорда Ворона думает о себе, а не о чужих детях.

— Берет, — ответил он. — Двоих подмастерьев у моста, мальчишку и девчонку, которых из лазарета выгнали за ненадобностью. Их клан на поруки не взял, город на откуп не отдал. Сироты при реке.

Я завязала плащ и подняла коробку. Иней на крышах уже подтаивал, и капель пахла свежим деревом и железом.

Трактирщик сказал вслед:

— Лорд Каэл вчера спрашивал у хозяйки, не останавливалась ли у нее бывшая жена.

Я не обернулась. Спросила через плечо, ровно, как будто спрашиваю про цену на рыбу:

— И что хозяйка?

— Сказала, что у нее останавливаются только те, кто платит за постой. А лорды Ворона в этом доме давно не платят.

Дверь закрылась за мной. Город лежал внизу, серый и чужой, и впервые это было правильно. Я несу коробку с травами матери в комнату у моста, где пахнет сушеным змеевиком и дымом. Где меня будут звать по имени, а не по мужу. Где от меня не будут ждать благодарности за то, что не убили.

Когда я дошла до моста, печать на запястье дрогнула в первый раз. Тонко, почти незаметно, как будто Каэл в эту секунду подумал обо мне. Я стиснула зубы, перехватила коробку поудобнее и постучала в дверь лечебницы.

— Кто там? — раздался голос Марты.

— Лекарь, — ответила я. — Еду из города. Беру учеников и плачу за постой работой. Мне нужна комната и право торговать зельями. У меня есть коробка с травами матери и руки, которым вы доверяете.

Дверь открылась. За ней стояла невысокая вдова с внимательными глазами и ключом на поясе. Она посмотрела на мою коробку, на руки, на лицо, где следы от слез уже подсохли, и молча отступила в сторону, впуская меня в дом, где пахло правильно.

Я вошла и больше не обернулась.

Дверь лечебницы закрылась за мной с тем тяжелым стуком, каким закрываются двери, в которые не звали обратно. Я поставила коробку с травами на лавку у порога и огляделась. Кухня была узкой, низкой, с закопченным потолком и оловянной миской для воды на крюке. Пахло сушеным змеевиком, старым жиром и дымом, который не выветрился за зиму. Марта шла впереди, не оглядываясь, и ключ на ее поясе тихо постукивал о бедро, отмеряя шаг.

— Комната наверху, — сказала она. — Подмастерья спят в боковой. Кухня общая, но готовит тот, кто не на лавке. Реестр у смотрителя Бронислава, без отметки торговать зельями нельзя. Плата за постой — работа в доме, уроки сиротам и одна бесплатная смена в неделю для городской бедноты. Не устраивает — ищи другую лечебницу.

Я кивнула и подняла коробку. Лестница скрипнула под ногами, вторая ступень была треснувшей, и я запомнила это место, чтобы завтра починить самой. Комната оказалась крошечной: кровать, стол, стул, окно во двор, где на веревке сохло чужое белье. На столе лежал засохший цветок мальвы и записка, написанная детской рукой: «Марта, мы поели». Я положила записку обратно, развернула коробку и разложила травы по полкам. Руки работали сами, без меня.

К вечеру в дверь постучали. Марта вошла без спроса, как входят к себе, поставила на стол миску с кашей и кружку молока, посмотрела, как я раскладываю пакетики, и сказала:

— Завтра к смотрителю. Без отметки в реестре ученики казенные, и заберут их в лазарет на поруки. Если хочешь своих сирот, сначала отметка, потом урок. Иначе выгонят обоих.

Я перестала разбирать пакетики.

— Сколько стоит отметка?

— Серебряный. У тебя есть?

— Нет. У меня есть работа.

Марта села на стул напротив и сложила руки.

— Тогда торгуйся. Бронислав берет работой, если работа грязная. В лазарете нужна прачка, которая не боится крови. Пойдешь — отметка будет.

Каша пахла пшеном и луком. Я посмотрела в окно, где уже темнело, и впервые подумала, что у меня есть завтра. Не бумага о разводе, не подпись под чужим долгом, не печать, которая тянет чужую боль в мое запястье. У меня есть прачка, реестр и два сироты, которых я еще в глаза не видела, но уже решила не отдавать.

— Пойду, — сказала я. — Утром.

Марта встала, забрала записку из-под цветка, посмотрела на нее, как на что-то живое, и ушла. Я осталась одна в комнате, где пахло чужим домом и моими травами. Печать на запястье

ныла тихо, ровно, как второе сердцебиение, к которому я еще не привыкла. Я закатала рукав, посмотрела на тонкую линию шрама, похожую на букву, которую не хочу читать, и натянула рукав обратно.

Утром я стояла у дверей лазарета с узлом грязного белья в руках. Белье пахло железом, карболкой и чем-то сладковато-гнилым, от чего перехватывало горло. Прачка — пожилая женщина с трещиной в голосе — указала мне на чан с водой, рядом поставила корыто и молча ушла. Я развязала узел, разложила простыни, и руки сами нашли ритм: замочить, отжать, выкрутить, повесить. В лазарете кашляли, стонали, спорили о цене на пиво. Мимо прошел смотритель Бронислав — мужчина с мягким животом и глазами, которые улыбались ртом, а не лицом. Он посмотрел на меня, как смотрят на вещь, которую можно выгодно продать, и пошел дальше.

К полудню я выстирала три корыта и выжала четыре пары мужских портянок, от которых пальцы потом не отмывались до вечера. Бронислав вернулся, сел на лавку рядом и сложил руки на коленях.

— Лекарь из лечебницы у моста, — сказал он, не спрашивая. — Бывшая жена лорда Ворона. Слышал.

Я не подняла глаз от портянок.

— Слышали, — согласилась я. — И что?

— И то, что лорды Ворона не платят по счетам. За вами долг клану, за вами печать, за вами слух, который в этом городе дороже денег. Отмечу реестр, если пообещаете не принимать мужа под кров.

Я выжала портянку и повесила на жердь.

— Мужа у меня нет. Есть бывший муж, который спрашивает у чужих хозяек, где я ночую. Это не одно и то же.

Бронислав усмехнулся. Усмешка у него была короткая, деловая.

— Одно и то же, пока стоит печать. Отмечу, если дадите слово при смотрителе. Слово — не подпись, от слова не откупишься.

Я вытерла руки о фартук. Вода в чане была серой от крови и карболки, и в ней отражалось мое лицо, которое я едва узнавала.

— Даю, — сказала я. — При свидетелях. Сегодня.

Он кивнул, встал и пошел к выходу. У двери обернулся.

— Ученики ваши придут к вечеру. Мальчишка — Тим, девчонка — Лена. Не перекурмите, а то клан решит, что вы их покупаете.

Я промолчала. Дверь закрылась. Я вернулась к чану и начала стирать следующую простыню, которая пахла чужой лихорадкой. Печать на запястье снова дрогнула, на этот раз сильнее, как будто Каэл в эту минуту не спал и думал, зачем я ушла. Я стиснула зубы и выжала простыню так, что пальцы хрустнули.

К вечеру реестр был у меня в кармане, отметка стояла, и я шла обратно к мосту, по улице, где меня уже знали в лицо. У двери лечебницы стояли двое — мальчишка лет десяти с серьезными глазами и девочка моложе, с перевязанной ладонью и привычкой жаться к стене. Они смотрели на меня так, как смотрят на новую мать, которая может и не вернуться.

Я достала из кармана краюху хлеба, разломила пополам и протянула им.

— Заходите, — сказала я. — Будем чинить лестницу, варить микстуру и спать в доме, где пахнет правильно.

Они вошли. Я за ними. Дверь закрылась. В доме пахло сушеным змеевиком, дымом и хлебом, который я сама испеку завтра. Печать на запястье ныла тише, как будто на время согласилась подождать.

К вечеру в лечебнице стало тесно. Тим притащил из подсобки три кривых чурбака, Лена устроилась на лавке у окна и смотрела, как я перебираю травы, с таким вниманием, будто я

делаю фокус. Марта грела воду в котле, Ленни крутился под ногами и дважды чуть не сбил меня с ног, а потом замер у двери, прижал ухо к щели и прошептал:

— Там... стоит кто-то.

Я остановилась. Пальцы сами сжались на горсти сушеного змеевика, и я почувствовала, как печать на запястье дернулась — не болью, а притяжением, как будто кто-то дернул за нитку, вшитую в кость. Я знала это чувство. Оно всегда приходило раньше, чем я успевала подумать имя.

— Не открывай, — сказала я Ленни. — Никому.

Ленни замотал головой и отошел от двери, как от горячего. Тим встал между мной и порогом, маленький, с чурбаком в руках, и я на секунду увидела в нем не ребенка, а то, кем он станет через пару лет, если я не сдам его в казенный лазарет. Я перехватила его руку, отняла чурбак, поставила на лавку рядом с Леной и пошла к двери сама.

За дверью стоял Каэл. Не в парадном, а в дорожном плаще, сером от пыли, с капюшоном, надвинутым на лоб. Под плащом угадывалась перевязь, а на скуле белела свежая ссадина — кто-то успел тронуть его раньше меня. Он не вошел. Он стоял ровно на пороге, на границе чужой территории, где каждый лишний шаг стоил ему боли, и я видела, как он эту боль держит — молча, привычно, как дышат.

— Уйди, — сказала я.

— Астрид.

— Уйди. У меня слово смотрителю.

Он не двинулся. Только опустил капюшон, и в тусклом свете фонаря я увидела его глаза — те самые, на которые я когда-то смотрела утром, и вечером, и ночью, пока не поняла, что смотрю в пустоту. Теперь в них было что-то, чего я раньше не видела: усталость, которую не прячут, и просьба, которую он сам себе не позволял.

— Я не войду, — сказал он. — Мне не нужно. Мне нужно, чтобы ты знала: клан послал людей в город. Ищут тебя, не меня. Идут по печати.

— Уходи, — повторила я. — Я дала слово.

— Я слышал, — ответил он. — Уже слышал.

Он стоял и не шевелился, и я ненавидела его за то, как он держит паузу, за то, как смотрит на дверной косяк, а не на меня, за то, что его запах — кожа, холод, чужой дым — просочился ко мне через щель. За дверью притихли дети. Марта остановилась у котла, не оборачиваясь, и я знала, что она слушает каждое слово. Я тоже слушала. Свое дыхание, его дыхание, скрип половицы под его ногой, которую он не сдвинул ни на вершок.

— Каэл, — сказала я. — Ты меня слышишь. Ты меня слышишь, потому что я говорю вслух, а не потому что печать тянет. Уйди. Дай мне хотя бы ночь.

Он кивнул. Медленно, тяжело, как кладут что-то на землю.

— К утру пришлю человека, — сказал он. — Не меня. Человека, который знает, где сейчас люди клана. Он придет к мосту и будет ждать.

— Я не просила.

— Я знаю. Поэтому и пришлю.

Он отступил от порога, и я увидела, как у него дрогнули плечи, когда он сделал шаг с чужой территории. Боль он не показал — ни словом, ни лицом. Только качнулся, выпрямился и пошел прочь по улице, не оглядываясь. Я смотрела ему в спину, пока он не свернул за угол у часовни, и печать на запястье ныла так, будто я сама сделала этот шаг.

Я закрыла дверь, повернула ключ и прислонилась к ней спиной. Ленни смотрел на меня круглыми глазами, Тим стоял у лавки, сжимая кулаки. Марта наконец обернулась от котла.

— Это он? — спросила она.

— Бывший, — сказала я. — Больше не придет.

— Вранье, — тихо сказала Лена, не поднимая глаз. — У вас рука дрожит.

Я посмотрела на свою руку. Она действительно дрожала. Я сжала ее в кулак, спрятала печать под рукавом и пошла к столу.

— Утром — рынок, — сказала я. — Змеевик, сушеная календула, уголь для котла. Сейчас — каша и сон. Марта, у тебя найдется еще одеяло?

Она кивнула и ушла наверх. Я села к столу, разложила перед собой пакетики с травами и стала считать: сушеный змеевик — три горсти, календула — одна, мята — полгорсти, белладонна — щепотка, настойка пустырника — две склянки. К утру нужно было сварить микстуру от кашля для городской бедноты, чтобы Бронислав не нашел повода закрыть реестр. Руки работали, голова считала, печать ныла, и в этой ныли было что-то похожее на ответ, который я еще не умела прочитывать.

За стеной скрипнула половица — будто кто-то снова встал у порога, которого я не открывала. Я замерла. Никто не постучал. Тихо стало, и в этой тишине я услышала только, как в котле у Марты булькает вода и как Тим шепотом говорит Лене: «Она нас не бросит». Я не знала, к кому он это сказал — ко мне или к себе. Но я кивнула, сама себе, и вернулась к травам. До утра оставалось несколько часов, и у меня впервые было, к кому возвращаться утром.

Я пересчитывала травы в третий раз, когда внизу хлопнула дверь. Не моя — наружная, та, что выходила на задний двор к леднику. Тим вздрогнул, Лена вжалась в стену, и я почувствовала, как печать дернулась коротко, требовательно, будто кто-то дернул за нитку изнутри кости. Марта уже стояла в дверях кухни с кочергой в руке, и вид у нее был такой, что я поняла: она ждала этого гостя с того момента, как я рассказала ей, кто стоял у порога.

— Я сама, — сказала я и вышла в сени.

У двери стоял Дарен, поверенный, в чужом плаще и в своих, слишком аккуратных для ночи, перчатках. Он снял шляпу, и я увидела, что у него трясутся пальцы — мелко, по-стариковски, хотя ему было всего сорок.

— Госпожа, — сказал он. — Я пришел не как поверенный. Я пришел как свидетель.

— Свидетель чего?

— Того, что развод, который я оформлял, был фальшивым. Не по бумаге — по обряду. Я нашел запись в реестре гильдии. Каэл не проходил обряд отречения при старейшине. Печать осталась живой. Я обязан был вам сказать.

Я прислонилась к косяку. В голове стало очень тихо и очень ясно, как бывает, когда перестает звенеть ухо после удара.

— Почему сейчас?

— Потому что клан узнал, что вы здесь. Они придут за вами, и тогда сделка будет закрыта. Я хотел предупредить.

— Даром?

Он помолчал. Потом достал из кармана сложенный вчетверо лист — копию записи, с печатью гильдии, с моей фамилией, с датой, которой я не помнила, потому что в ту ночь мне было плохо с чернил и я не читала то, что подписывала.

— Это ваше, — сказал он. — Спрячьте. Когда придут люди клана, вы покажете это смотрителю. Тогда лечебницу не закроют. Вас не отдадут. Ваше слово будет стоять больше их письма.

Я взяла лист. Бумага была холодная, пахла сургучом и чужими чернилами, и я почувствовала, как печать на запястье отозвалась — не болью, а узнаванием. Она знала эту бумагу. Она знала, что в ней написано.

— Уходите, — сказала я. — Через задний двор, мимо ледника. Если увидят, что вы здесь, ваше имя тоже поставят в реестр.

— Я знаю, — ответил он. — Поэтому и пришел ночью.

Он ушел. Я закрыла дверь на засов, спрятала лист под рубашкой, там, где его не достанет случайная рука, и постояла, считая удары сердца. Их было семь. Потом стало восемь. Потом я

перестала считать, потому что услышала, как в кухне Ленни шепотом просит Марту дать ему кусок хлеба, и этот голос был важнее любого счета.

Я вошла в кухню. Марта стояла у стола, Тим сидел на лавке, Лена прижимала к груди перевязанную ладонь. Все смотрели на меня так, будто я только что вернулась с войны.

— Утром рынок, — сказала я. — Змеевик, календула, уголь. И разговор со зрителем. Все.

— А он? — спросил Тим, и я поняла, что он имеет в виду не Дарена.

— Он не придет, — ответила я. — Ему нельзя сюда. Я сама пойду к мосту и встречу того, кого он пришлет. Без него.

Ленни посмотрел на меня круглыми глазами.

Ставень щелкнул, и я осталась в темноте. Левая рука лежала на листе с печатью гильдии, правая сжимала край стола. Я дышала ровно, считая не удары сердца, а трещины в штукатурке над очагом, которых было одиннадцать. Каждая трещина — минута тишины. На одиннадцатой я встала, подошла к полке, достала медный ключ от лавки и положила его рядом с листом. Два ключа от двух разных замков, которые больше не должны были открываться одной рукой.

Ленни сидел на пороге кухни, подтянув колени к подбородку. Я села рядом с ним на корточки. От него пахло хлебом и сонным потом, и я впервые за этот день подумала о том, что он весит меньше, чем мешок с сушеным змеевиком, который мне предстояло нести утром.

— Ленни, — сказала я. — Завтра ты пойдешь со мной на рынок. Будешь держать корзину.

— А если дядька вернется? — спросил он, не поднимая глаз.

— Он не дядька. И он не вернется. Если кто-то чужой подойдет к лавке, ты говоришь: «Хозяйка занята». И уходишь к Марте.

Он кивнул слишком быстро. Я заправила ему воротник рубашки, потому что он опять завернулся, и почувствовала, как он прижался щекой к моей руке. Одной секундой. Я не стала ее отнимать.

В кухне Тим помогал Марте разливать кашу по мискам. Я остановилась в дверях. Лена сидела на лавке, прижимая к груди перевязанную ладонь, и смотрела не в тарелку, а в окно. Темное стекло, закрытый ставень, и за стеклом — ничего, кроме булыжника и чужой тени, которую я не хотела проверять.

— Утром я встану раньше всех, — сказала я. — Кашу сварите сами. Марта знает как. Если кто-то придет до меня — дверь на засов, дети наверху, кочерга у порога. Никто не открывает.

— А если Регина? — спросила Марта, не оборачиваясь.

— Регина не пойдет к двери, — ответила я. — Регина пошлет зрителя.

Это была неправда. Регина могла послать кого угодно. Но Марта кивнула, и Тим кивнул, и Лена наконец опустила глаза в тарелку.

Я поднялась к себе, прижала к груди конверт с записью гильдии, достала из-под половицы материнскую коробку с травами. Под мешочком сушеной мяты лежало письмо — то самое, серое, с оборванным углом. Я развернула его, положила рядом с листом Дарена. Два документа. На одном — слово старейшины, на другом — слово поверенного. Между ними — моя подпись, которую я не помнила.

— Астрид, — сказала я вслух, и голос был чужой. — Ты понимаешь, что сейчас произошло?

Никто не ответил. Я сложила письма обратно, опустила крышку, накрыла коробку пустым мешком и поставила в угол у двери. За стеной скрипнула лестница — Ленни пошел наверх. Я подождала, пока стихнет. Потом сняла с полки тетрадь в кожаном переплете, открыла чистую страницу и написала первое, что пришло в голову:

«Утро. Змеевик, календула, уголь. Разговор со зрителем. Письмо — наверх. Дети — при мне. Ключ — у меня».

Под последней строкой я задержала перо. На запястье под рукавом печать лежала ровно, не ныла, не дергалась — впервые за сутки. Я подумала, что это потому, что я перестала считать чужие шаги за стеной и начала считать собственные. Поставила дату, закрыла тетрадь, положила под подушку. Легла. До рассвета оставалось три часа, и я знала, что не усну, но закрыла глаза, чтобы хоть одну минуту в этом доме никто не стоял у порога.

— А если он все равно придет?

— Тогда я скажу ему, что дверь закрыта. И он уйдет.

Я села к столу, достала из-под рубашки сложенный лист, разгладила его на колене и прочитала первый раз медленно, по слогам, как читают приговор. Потом сложила обратно. Потом подняла глаза и увидела, что за окном, у часовни, стоит Каэл. Не у двери. У часовни. На чужой земле, на которой ему было больно стоять, и он стоял, и смотрел на мое окно, и я знала, что он не войдет, потому что я не звала. Я подняла руку и опустила ставень. Щелкнула задвижка. Стало тихо. Я положила ладонь на лист, и печать под рукавом наконец перестала ныть.

Глава 4. Общий обед

Мне наконец-то перестало казаться, что чужой потолок надо мной не чужой. На третье утро доска над головой пахла сеном и подсыхающей глиной, и это я уже отличала от воска и розовой воды, которыми меня травили наверху. Я спала под тремя одеялами и по привычке просыпалась, когда на лестнице скрипела ступень. Сейчас она скрипнула.

Я села на кровати, прижала ладонь к запястью. Шрам под повязкой тянуло тупой, ровной болью, как всегда, когда клан был близко, - или когда клан думал обо мне вслух. Марта вошла в кухню без стука, поставила на стол медный таз и оловянный кувшин.

- Рано разбудила, - сказала она не мне, а тазу.

- Я не сплю. Кто приходил к мосту?

- Бакалейщик. Хочет за щепотку полыни пуд соли. - Она выпрямилась. - У тебя опять холодная рука.

Я посмотрела на собственные пальцы и не узнала их - слишком светлые, слишком тонкие. Я привыкла к своим рукам темнее, грубее. Ленни прошмыгнул в кухню, пока я думала об этом, и сразу полез под лавку - за щенком, которого накануне притащил со двора. Щенок был размером с мужской кулак, слепой и рыжий. Я разрешила оставить его до завтра.

- Ленни, у нас есть работа, - сказала Марта. - Позови Тима с Леной.

Ленни убежал. Я встала, откинула одеяла и нащупала саквояж у изголовья. Сама его туда положила, чтобы ночью успеть. Внутри лежали нитки, иглы, моток чистой льняной ткани и - под всем этим, в холщовом мешочке - сухой зверобой. Вчера я сварила его в двух глотках воды с медом, протомила, процедила. Настой стоял под лавкой в глиняной крынке, завязанный тряпичей.

Я не собиралась принимать раненых. Я хотела, чтобы утром сварили кашу.

На лавку для раненых я стелила чистую рогожу, потом меняла подкладку, потом ставила глиняную плошку с водой, потом подогревала настой. Ступени снова скрипнули, и на этот раз я узнала по шагам: Тим, Лена, Ленни. И Марта в кухне - это был не ветер, это был запах горячего отвара, она варила кашу, а из котла валил пар.

- Садись, - сказала Марта. - У нас будет не простой обед.

Тим и Лена вошли в кухню тихо, как входят дети, которые привыкли к чужим домам. Я пересчитала их, как всегда пересчитывала: Тим в вытертой куртке с чужого плеча, подпоясанной бечевкой, у Лены на запястье - тонкая нитка с тремя узелками, материнский оберег. Их привела Марта. Я знала, что она их держит здесь из милости, что без меня она бы их отдала в казенный лазарет.

- Садитесь, - сказала я. - Сегодня раздача лекарства.

Марта поставила на стол глиняную миску с теплой кашей, посыпанной сушеной мятой. Тим посмотрел на меня снизу вверх и спросил:

- А это - лекарство?

- Это - каша. Лекарство будет потом.

Ленни уже сидел за столом, прижав щенка к груди. Лена первая заметила, что у меня дрожит рука.

- У тебя плохо с рукой, - сказала она тихо.

- Это пройдет, - сказала я.

В это утро на стол должен был прийти первый настоящий пациент. Не ученик - чужой человек. Из города, через мост, за деньгами. Марта сказала, что Сольвейг привела к порогу племянницу булочницы: девочку одиннадцати лет, которая порезала себе руку о битое стекло и три дня не могла разогнуть пальцы.

- Сольвейг сказала, что девочка боится идти к Брониславу, - добавила Марта. - Сказала, что ты не страшная.

- Я страшная, - сказала я. - Но у меня чистая повязка.

Я дождалась, пока дети поедят. Потом собрала саквояж, достала моток льна, подогретый отвар зверобоя, чистую повязку, пинцет, иглу, нитку, корень алтея. Сложила все в глиняную миску, накрыла чистой тряпицей - и пошла к двери.

Когда я открыла дверь, на пороге стоял мальчик лет десяти, грязный, в короткой куртке, с трясущимися руками.

- Сестра, - сказал он, - у Каэла рука горит. Он у часовни, он не входит.

Я знала, что он не войдет. Я сама дала слово смотрителю Брониславу не впускать бывшего мужа под кров. Это слово стоило мне серебряного и прачки в лазарете. Оно держало реестровую отметку в обмен на мое молчание у двери.

Я смотрела на мальчика. Потом я посмотрела на свои руки. Они больше не дрожали.

- Зови девочку к лавке, - сказала я Марте через плечо. - Каша остается на плите.

Я пошла к лавке. За спиной слышала, как мальчик бежит к часовне, как Марта закрывает дверь на крючок, как у Лены на запястье звякает оберег из трех узелков.

Я шла лечить чужую рану, потому что это была моя работа. Моя лечебница. Моя печь. Мои руки. Печать под повязкой ныла ровно - я привыкла считать это за тишину.

Я открыла лавку сама. Засов отошел с третьего толчка, потому что я вчера забыла его смазать, и теперь пальцы слиплись от ржавчины. Внутри пахло сушеным змеевиком и мылом, которое варила Марта по пятницам. Я зажгла огарок на прилавке, поставила глиняную миску с инструментами и подвинула табурет к окну.

Сначала - стол. Я протерла его уксусом, застелила чистой рогожей, поставила плошку с водой. Зверобойный настой перелить в чистую крынку, подогреть на жаровне, не кипятить. Я делала это руками, которые еще вчера не знали, что будут лечить чужие раны за медную плату. Теперь знали.

Ступени скрипнули. Я не обернулась - узнала по запаху мокрой шерсти и чужих духов. Сольвейг вошла в лавку, как входят соседки: без стука, с корзиной.

- Я ее веду, - сказала она. - Только она не пойдет к двери, пока ты не скажешь, что не больно.

- Я не обещаю не больно, - ответила я. - Я обещаю чисто.

Сольвейг кивнула, вышла и через минуту вернулась с девочкой. Дочь булочницы - я вспомнила лицо с рынка, круглое, в веснушках. Левая рука висела платком, пальцы были разжаты, на сгибе запястья темнел порез, стянутый грязной тряпкой. Девочка смотрела на меня исподлобья, как смотрят дети, которых уже обижали за то, что они плачут.

- Садись, - сказала я и подвинула табурет.

Она села. Я не стала торопиться - сначала сняла тряпку, осмотрела рану. Порез был глубокий, края воспаленные, сухожилие цело, иначе пальцы не шевелились бы. Я промыла рану отваром зверобоя, дала девочке сжать кулак - сжала, медленно, с шипением. Значит, нерв не задет.

- Будет жечь, - сказала я. - Три вдоха.

Я плеснула спирту на рану. Девочка зашипела сквозь зубы, но не заплакала. Я бы ее уважала, если бы не знала, что она не плачет только потому, что Сольвейг уже отругала ее за слезы в лавке. Я стянула края, наложила три шва тонкой нитью, сверху - повязку с алтеем.

- Через три дня придешь на перевязку, - сказала я. - Если палец онемееет - придешь раньше.

Сольвейг положила на прилавок три медяка и кусок хлеба.

- Хлеб - от булочницы, - сказала она. - Медяки - от меня.

- Медяки не нужны, - сказала я и подвинула обратно. - Хлеб возьму.

Сольвейг посмотрела на меня так, как смотрят вдовы на чужие странности, и не стала спорить. Девочка ушла, прижимая руку к груди. Я слышала, как Сольвейг бормочет ей у двери: "Не тронь, не тронь повязку, я сказала".

Лавка опустела. Я села на табурет и пересчитала инструменты - все на месте, нитка цела, игла не погнулась. Первый пациент, первые деньги, которых я не взяла. Это была не щедрость. Это была цена, которую я платила за то, чтобы город перестал шептаться, что бывшая жена лорда Ворона держит лавку ради медяков.

Я встала, чтобы убрать миску, и тогда печать под повязкой дернуло. Не ровно - рвано, как дергают за нитку, когда тянут с другого конца. Я замерла у прилавка. Жар прошелся от запястья к локтю, осел в плече. Я привыкла считать это за тишину. Сейчас это была не тишина.

Я знала, что это значит. Клан был близко. Не у моста - в городе.

Я быстро собрала миску, плеснула остатки отвара в крынку, закрыла лавку на засов. По лестнице поднялась в кухню, где Марта мыла котлы, а Ленни кормил щенка кашей с ложки.

- Кто приходил к мосту? - спросила я, не здороваясь.

Марта выпрямилась, вытерла руки о передник.

- Двое, - сказала она. - В серых плащах. Спрашивали у рыбака, не видел ли он лекарку с черной косой. Рыбак сказал, что не видел.

Я села на лавку, потому что у меня подогнулись колени. Это не был страх - это была усталость от того, что моя жизнь снова решалась без меня. Каэл стоял у часовни, раненый, не мог войти без моего слова. Клан вошел в город, искал меня по приметам. Между ними стояла я - с повязкой на запястье и тремя медяками, которые я не взяла.

- Марта, - сказала я. - Если придут еще - скажи, что я уехала к Сольвейг.

- А если спросят, когда вернусь?

- Скажи, что не знаешь.

Она кивнула. Ленни поднял голову от щенка.

- А дядька Каэл? - спросил он. - Он у часовни. Ему холодно.

- Ему не холодно, - сказала я. - Ему больно. Это разные вещи.

Ленни посмотрел на меня серьезно, как смотрят дети, которые верят, что взрослые знают, что говорят. Я знала, что он пойдет к часовне, как только я уйду в лавку. Я не стала его останавливать. У меня не было на это права - у меня не было права решать, кому восьмилетний мальчик несет свой хлеб.

Я пошла к двери, остановилась. На крюке у порога висел мой саквояж. Я сняла его, повесила обратно. Я не пойду к часовне. Я не нарушу слово зрителю. Я не дам клану повод сказать, что бывшая жена Ворона первая побежала к мужу.

Я вернулась к столу и села писать в книгу записей первую строку: "Марта, двадцать восемь лет, варикоз левой голени, повязка с конским каштаном на ночь". Это была неправда - у Марты не было варикоза. Это была запись, которую я поставила в книгу, чтобы к вечеру у зрителя Бронислава было что переписать в реестр, если он спросит, чем я занимаюсь.

Печать под повязкой горела ровно. Я привыкла считать это за тишину. Сейчас это было напоминание о том, что мое тело снова стало чужой картой, на которой кто-то другой отмечал, куда я иду.

К вечеру я устала считать чужие шаги и начала считать свои. Это была маленькая хитрость, которой меня научила Марта: если перестать слушать, кто идет по мосту, начинаешь слышать, где у тебя мокнет подол и какой палец на левой ноге стерт. Я стояла у прилавка, перебирала сушеный змеевик и пересчитывала связки - три, четыре, пять. На шестой печать дернуло снова, ровно, как будто кто-то потянул тонкую нить.

Я положила связку. Руки были заняты, голова - тоже, и я не сразу поняла, что боль пришла не изнутри, а снаружи. Шаги на крыльце были тяжелые, не Сольвейг и не Марта. Стук в дверь - два раза, коротко, как стучат люди, которым не привыкать к чужим порогам.

- Закрыто, - сказала я.

- Не для меня, - ответил голос Дарена.

Я отодвинула засов. Поверенный вошел в чужом плаще - сером, с чужого плеча, слишком длинном - и снял шляпу. Перчатки были аккуратные, но пальцы под ними тряслись. Я видела, как дрожит кожа на костяшках, когда он сжал поля шляпы.

- Не от смотрителя, - сказал он тихо. - Я пришел как свидетель.

- У поверенных нет свидетелей, - ответила я. - У поверенных есть клиенты.

Он посмотрел на меня так, как смотрят люди, которые впервые в жизни не знают, с чего начать. Потом полез за пазуху и достал сложенный вчетверо лист. Бумага была гильдейская, с водяным знаком, пахла сургучом и чужими чернилами.

- Каэл не проходил обряда отречения при старейшине, - сказал Дарен. - Запись в реестре гильдии сделана в тот же вечер, что и ваш развод, но без печати старейшины. По нашему уставу такой развод - фикция. Печать остается живой. Он не развелся с вами, Астрид. Он отказался от обряда.

Я взяла бумагу. Почерк был знакомый - Даренов, ровный, с наклоном. Подпись гильдейского казначея стояла внизу, рядом с местом, где должна была стоять печать старейшины Регины. Место было пустое. На полях - приписка мелким почерком: "Отречение не совершено, метка в крови не снята, оснований для записи о разводе не имеется".

- Зачем вы мне это принесли? - спросила я.

- Потому что завтра клан постучит в эту дверь, - сказал Дарен. - Они уже в городе. Им нужны вы, а не он.

Я сложила бумагу и спрятала за пазуху, туда же, где лежала копия записи смотрителя Бронислава. Два листка легли друг на друга - один о том, что мне разрешили учить, другой о том, что мой развод был ложью.

- Спасибо, - сказала я.

- Не благодарите, - ответил Дарен. - Благодарите, когда выживете.

Он надел шляпу и вышел через задний двор, мимо ледника, чтобы не поставили его имя в реестр у двери. Я слышала, как скрипнула калитка, как стихли шаги. Лавка снова была пустая. Пахло сушеным змеевиком, и я не знала, чего в этом запахе больше - лекарства или тлена.

Я села на табурет и развернула бумагу снова. Перечитала приписку казначея. Потом перечитала еще раз, потому что надеялась, что во второй раз она скажет другое. Она сказала то же самое: Каэл не проходил обряда. Его подпись под разводом была пустой, как мое место в долговой книге, где на полях стояло имя Рины Вельт.

Печать под повязкой ныла. Не рвано, как утром, а ровно, с тем самым накалом, который я уже выучила наизусть. Каэл стоял у часовни. Клан искал меня в городе. Между ними была я, и на мне висела бумага, которая стоила дороже, чем кровь на его повязке.

Я встала, заперла лавку на засов и поднялась в кухню. Марта мыла котлы, Ленни спал на лавке, прижав к груди щенка. На столе лежал кусок хлеба, завернутый в тряпицу, и я поняла, что мальчик все-таки ходил к часовне.

- Ленни, - сказала я тихо.

Он не проснулся. Только крепче обнял щенка. Я отвернулась, потому что смотреть на это было больнее, чем думать о клане. У меня не было права злиться на ребенка за его хлеб. У меня было право решить, что с этим хлебом делать.

Я села за стол, достала обе бумаги и положила рядом. Запись Бронислава - о том, что мне разрешено учить. Запись гильдии - о том, что мой развод был ложью. Между ними я положила свою руку ладонью вниз, чтобы печать оказалась между двумя чужими словами о моей жизни.

Утром клан постучит в эту дверь. Утром я покажу смотрителю вторую бумагу, и это будет не просьба, а счет. Я не знала, хватит ли мне голоса, чтобы назвать цену вслух. Но я знала, что молчать - дороже.

Я проснулась от того, что под повязкой жгло. Не ровно, как вечером, а рывками, словно кто-то дергал тонкую нитку, пришитую к кости. Левая рука лежала на краю стола, зажата между двумя листками, и я сначала не поняла, который час. Кухня пахла остывшей кашей и мокрым деревом. За окном было серо, но не от дождя - от тумана, который в Сероводске по утрам стоял над мостом, как грязная марля.

Ленни на лавке уже не спал. Он сидел, прижав щенка к груди, и смотрел на меня так, как смотрят дети, которые уже что-то поняли, но боятся спросить. Я села, опустила ноги на холодный пол, нашарила туфлю. Левая нога была стерта - я вспомнила это раньше, чем вспомнила, где нахожусь.

- Марта ушла к булочнице, - сказал Ленни. - Сказала, чтобы вы не ходили к смотрителю до нее.

Я кивнула. Это было правильно. Марта знала, что к смотрителю нельзя идти с пустыми руками и с бьющимся сердцем, нужно идти с товаром - либо с деньгами, либо с бумагой, которая бьет сильнее денег. У меня была бумага. Я вытащила оба листка из-под локтя, разгладила на столе. Запись Бронислава о праве учить. Запись гильдии о том, что мой развод был фикцией. Между ними я положила свою ладонь, и печать под повязкой отозвалась коротким уколом, словно признала соседство.

- Ленни, - сказала я, - что ты отнес вчера к часовне?

Он опустил глаза. Щенок ткнулся носом ему в подбородок.

- Хлеб, - сказал он. - И сала. Дядька не ел со вчера.

Я не стала спрашивать, кто такой дядька. Я знала. Мне было все равно, как его зовут мальчик, - мне было важно, что восьмилетний ребенок, у которого нет отца, тащит еду бывшему мужу своей хозяйки, и это означало одно: Ленни уже выбрал, на чьей он стороне, и выбрал не меня.

- Больше не носи, - сказала я ровно.

Он посмотрел на меня и не кивнул. Я видела, что он не пообещал. Я видела, что он меня понял, и все равно не пообещал. У меня не было права запретить ребенку кормить голодного, и я не стала делать вид, что оно у меня есть.

Я встала, умылась над тазом, заплела волосы. Холодная вода стекала по запястью, и печать под повязкой сжалась, как будто я сама надела на руку чужой браслет. Я надела чистый передник, сунула за пазуху обе бумаги, поверх положила флакон с материнской мазью - на случай, если придется показать смотрителю не только чернила, но и живую работу. Саквояж оставила в лавке. К смотрителю я шла не как лекарь, а как человек, у которого есть счет.

Дверь Марта заперла на замок, ключ оставила под ковриком. Я подняла коврик, взяла ключ, нащупала на нем холодную насечку полумесяца. Дети уже сидели за столом - Тим и Лена, молча, с одинаково серьезными лицами. Тим резал хлеб. Лена налиwała воду. Они не спросили, куда я иду, и от этого мне стало хуже, чем если бы спросили.

- Вернусь к обеду, - сказала я. - Если кто придет - в лавку не впускать, на порог не выходить. Если спросят - я у смотрителя.

Тим кивнул. Лена на меня посмотрела и сказала тихо:

- У вас рука трясется.

Я посмотрела на левую руку. Она действительно дрожала. Я сжала ее в кулак, спрятала под передник и вышла.

Туман на мосту был гуще, чем вчера. Я шла по знакомой колее - третья доска скрипит, пятая прогибается, на седьмой надо перешагнуть гвоздь. Я считала доски и не смотрела на часовню. Я знала, что он там. Печать под повязкой тянуло влево, ровно, как магнитом, и я впервые подумала, что, может, это и есть настоящая привязка - не кровь, не клятва, а просто привычка тела знать, в какую сторону повернута голова того, на кого оно когда-то было записано.

У крыльца смотрителя уже стоял чужой конь. Не клан - конь был городской, подворованный, с провисшей спиной и мокрой гривой. На крупе - след от седла, но без седока. Я остановилась, пересчитала вдох. Печать рвануло сильнее, и я поняла, что в доме, кроме смотрителя, есть кто-то, чья кровь знает мою кровь.

Я поднялась на крыльцо, постучала два раза - коротко, как стучат свои.

- Бронислав, - сказала я, - мне нужно к тебе по делу. Я не уйду, пока не подпишешь.

Дверь открыл не он. На пороге стоял человек в чужом плаще, без шляпы, с повязкой на левой руке, перевязанной моей тряпицей. Я узнала ткань - это был край моего передника, тот, что я оторвала вчера, когда перевязывала ему порез.

Каэл смотрел на меня сверху вниз, и у него было то самое лицо, которое я видела в долговой книге на полях, - лицо мужчины, который пришел не просить, а сказать, что цена уже назначена. Только цена была не его, и не моя, и не клана. Она была на моем запястье, под повязкой, и горела так, что у меня свело пальцы.

- Ты обещал прислать человека, - сказала я.

- Я солгал, - ответил он. - Я не умею присылать. Я умею приходить.

Я полезла за пазуху, достала обе бумаги, сложила вместе и протянула ему.

Бронислав сидел за столом в глубине кабинета, и на его переносице лежала красная полоса от того, что он долго тер лицо ладонью. Он увидел меня и не встал, только подвинул стул напротив. Это был его торг: кто встает первым, тот уступает.

- Садись, - сказал он. - У нас посетитель.

Я не села. Я показала ему обе бумаги и положила их рядом с чернильницей. Левая рука под передником горела, но я держала ее в кулаке, и Каэл это видел. Я знала, что он видел, потому что он отступил к стене, как человек, которому показали его жест в чужом зеркале.

- Здесь отметка за право учить, - сказала я смотрителю. - А здесь запись гильдии, что мой развод фальшивый и печать не снята. Ты знаешь, что это значит для твоего реестра.

Бронислав взял верхний лист, прочел, положил обратно. Руки у него не дрожали, но он не торопился кричать пером.

- Это забота гильдии, - сказал он. - Не моего ведомства.

- Твоего, - сказала я. - Сироты в твоём реестре. Если меня вернут как беглую жену клана, учеников заберут в казенный лазарет. Ты получишь приписку, а не деньги.

Бронислав поднял на меня глаза и впервые за два дня посмотрел как на человека, а не как на строчку в книге. Он перевел взгляд на Каэла, потом обратно на меня. Я ждала.

- Цена, - сказал смотритель.

Я назвала. Не серебро. Десять ученических часов в неделю в твоём лазарете, бесплатно. И одна подпись под моим реестром, без которой учеников заберут к обеду. Бронислав подумал, крикнул пером, поставил дату.

Каэл не двинулся. Я забрала свою копию, сложила за пазухой, обошла его по правой стороне - левая была ближе, и я не хотела знать, что случится, если наши руки окажутся рядом. У порога я остановилась.

- У тебя рана открылась, - сказала я, не оборачиваясь. - Ленни принесет тебе корм в обед. До этого не трогай повязку, иначе придется шить.

Я вышла. На крыльце туман пах рекой и железом. Я сошла по ступеням, прошла три доски моста, считая скрипы, и только на седьмой позволила себе зажать левую руку под мышкой. Печать под повязкой стихала медленно, неохотно, как зверь, которому показали миску и увели обратно.

За моей спиной тихо скрипнула дверь смотрителя. Я не обернулась. Мне не нужно было - печать уже сказала мне, что Каэл вышел на крыльцо и смотрит мне вслед.

- Это смотрителю, - сказала я. - Не тебе. Отойди с крыльца.

Он не двинулся. Печать под повязкой жгло так, что я видела свет сквозь кожу. Я перехватила его взгляд, и впервые за всю эту историю в его глазах не было приказа. Там был страх - маленький, точный, как у человека, который понимает, что его бывшая жена стоит на его крыльце с бумагой, которая стоит дороже, чем его кровь, и это правильно, и это его вина, и он не может это отменить словами.

Я переступила порог. Я вошла первой.

Глава 5. Печать на ладони

Я прижимала к себе коробку обеими руками, пока спускалась по лестнице. Латунная застежка холодила ладонь даже сквозь ткань рукава. На площадке пахло капустой и мокрым деревом, где-то внизу Марта гремела чугуном о край котла. Я плотнее прижала коробку к груди и перехватила ляжку саквояжа, чтобы не звякнул пинцет.

— Куда? — крикнула Марта снизу.

— В подсобку, — ответила я, — разобрать травы для Тима. У него снова горло.

Марта промолчала, и я выдохнула. Ленни увязался было за мной, но Марта поймала его за ворот и усадила чистить морковь. Я проскользнула мимо ледника, толкнула ногой разошедшуюся дверь и прикрыла ее за собой спиной. Щелкнула задвижка. Стало тихо, только капала с крыши и где-то за стеной возились мыши в мешках с сушеным змеевиком.

Я поставила коробку на полку, раскрыла застежку и убрала в сторону верхний слой сушеных стеблей. Под ними лежал тот самый конверт, который я ночью получила от Дарена. Серая бумага, сургуч с оттиском гильдейского казначея, а внутри копия записи: «Обряд отречения при старейшине не проведен, развод фальшивый, печать жива». Я разгладила лист и снова перечитала каждую строчку, словно чужие слова могли за ночь превратиться в мою выдумку. Нет, не превратились. Буквы стояли ровно и безжалостно.

За стеной хлопнула входная дверь. Я вздрогнула и сунула письмо за пазуху, под рубашку, прижала локтем. Сердце ударило в горле так, что я на секунду перестала слышать капель. Шаги по крыльцу были тяжелые, мужские, неровные. Я знала эти шаги по тому, как печать под рубашкой дернулась и потеплела. Она не жгла, она тянула. Это было хуже, чем жар.

Я выпрямилась, одернула передник, пригладила волосы и вышла из подсобки. В кухне пахло свежей капустой и дымом, Марта стояла у печи с кочергой, Ленни сидел на лавке с морковью в руках. На пороге стоял Каэл.

Он выглядел так, словно простоял под дождем всю ночь. Плащ намок и потемнел, на скуле краснела свежая ссадина, подбородок зарос щетиной. Он смотрел на меня и молчал, и я видела, как он удерживает себя от шага внутрь. Договор с городом не пускал его без моего слова. Это было написано в его глазах.

— Ты обещал прислать человека, — сказала я тихо.

— Прислал, — ответил он и качнул головой в сторону двери.

Только тогда я заметила за его спиной Тину. Она стояла на крыльце, бледная, в мокром платке, с узелком в руках. На щеке у нее темнел синяк, и она не смотрела на меня, она смотрела в пол.

— Пусти, — попросил Каэл, и это прозвучало почти как приказ, но он осекся и закончил тише: — пожалуйста.

Марта медленно опустила кочергу на край печи. Ленни перестал чистить морковь и прижал ее к груди, как щит. У меня под рубашкой теплело письмо, а на запястье тянуло печать. Я стиснула зубы и переступила порог подсобки, закрывая собой проход.

— Слово смотрителю, — сказала я. — Ты помнишь.

Он кивнул. Я видела, как он сглотнул, и на секунду мне стало его жалко. Секунда прошла, и жалость кончилась. Я повернулась к Тине.

— Иди в подсобку, к печке, — сказала я девочке. — Сними платок, дай посмотрю.

Тина подняла голову, и я увидела у нее в глазах то самое выражение, которое бывает у сирот, когда их впервые пускают погреться. Она шагнула через порог мимо Каэла, и я тут же перехватила дверную ручку.

— Ты остаешься здесь, — сказала я ему, не повышая голоса. — Марта вынесет тебе кашу и воду. Поешь и уходи. Если я увижу тебя у ледника после рассвета, я позову стражу.

Он не спорил. Только посмотрел на мое запястье так, словно видел сквозь рукав, как там под кожей ползет знакомая ему вязь. Я отступила вглубь кухни и прикрыла дверь. Задвижка лязгнула. Печать под рубашкой дернулась и затихла, а потом снова потянуло влево, к крыльцу, к нему.

Я села на табурет у стола, достала из-за пазухи письмо Дарена и спрятала его под кленовую коробку с травами. Застежка щелкнула, как маленький выстрел. Утром я отнесу эту бумагу смотрителю. Пусть клан попробует прийти за мной через его порог.

За стеной Марта гремела миской, а я сжимала собственное запястье и чувствовала под пальцами чужой пульс, который не должен был там быть.

За стеной капала вода, и я считала капли, чтобы не считать шаги на крыльце. Раз, два, три. На четвертой капле шаги стихли, и печать на запястье медленно остыла, словно кто-то убрал с нее горячую монету. Ушел. Я выдохнула и повернулась к двери подсобки, за которой ждала Тина.

Девочка сидела на корточках у печной стены, платок сбился на сторону, синяк на скуле расплылся в желтое с багровой серединой. Она не плакала и не жалась. Просто сидела и ждала, пока я разрешу говорить.

— Покажи руки, — сказала я и села рядом на корточки.

Она протянула ладони. Пальцы были холодные, обкусанные до мяса, под ногтями чернела земля. На левом запястье темнел свежий ожог в форме полумесяца. Я узнала клеймо. Так клеймили учеников, которых отдавали в отработку за долг наставника. Ник продал ее руку чужому ремеслу, чтобы закрыть собственную нехватку серебра.

— Кто поставил, — спросила я тихо, хотя уже знала.

— Хозяин пекарни на Медной, — прошептала Тина. — За три дня работы на мешках.

Я достала из саквояжа флакон с мазью матери, отвинтила крышку и тонко намазала ожог. Тина дернулась, но не от боли. От неловкости, что кто-то дотронулся. Я знала эту неловкость. Ее не учили, что чужое прикосновение может лечить, а не брать.

— Слушай меня, — сказала я, не поднимая глаз. — Ты теперь не его ученица. Ты в лавке у моста. Марта тебя накормит, я покажу, где спать. Утром пойдешь со мной на рынок, поможешь выбрать сушеный змеевик. Ник за тобой не придет.

— Он придет, — прошептала она.

— Пусть приходит, — ответила я. — У меня для него есть разговор.

Тина подняла голову. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, и я поняла, что девочка впервые слышит, что за нее кто-то собирается держать ответ. Я закрутила крышку флакона и спрятала его обратно в саквояж, потом сняла с полки чистую льняную тряпицу и перебинтовала ей запястье поверх ожога. Бинт ложился ровно, и я впервые за день порадовалась, что руки помнят работу.

Из кухни потянуло кашей. Марта гремела мисками, Ленни что-то шептал ей на ухо. Я поднялась, подала Тине руку и вывела ее в кухню. Марта окинула девочку взглядом травницы, молча подвинула к ней миску с кашей и поставила рядом кружку теплого травяного отвара. Ленни, не дожидаясь просьбы, притащил с лавки свой чистый платок и положил рядом с миской.

— Ешь, — сказала я Тине. — Потом поговорим.

Она села и впервые за утро взяла ложку.

Я вернулась в подсобку, прикрыла дверь и достала из-за пазухи письмо Дарена. Серая бумага, сургуч, копия записи. Я разгладила лист на коленях и прочитала снова, уже спокойнее. Буквы не изменились. «Обряд отречения при старейшине не проведен, развод фальшивый, печать жива». Я перевернула лист. На обороте мелким почерком Дарена было приписано: «Покажи смотрителю при свидетелях. Иначе не возьмут в расчет. Срок до полудня, потом запись уйдет в архив гильдии».

До полудня оставалось два часа.

Я встала, спрятала письмо обратно за пазуху и вышла в кухню.

— Марта, — сказала я, — мне нужно к смотрителю. Сейчас.

Марта повернулась от печи. В ее глазах не было удивления, только та сосредоточенная работа мысли, которую я уже видела у нее утром, когда она пересчитывала мою мелочь.

— С Тиной останусь я, — сказала она коротко. — Иди.

Я накинула плащ, сунула за пояс кленовую коробку с травами, на секунду задержала пальцы на латунной застежке и вышла на крыльцо. Утренний воздух пах дымом и мокрым деревом. На мосту было пусто, и только у часовни темнел чужой силуэт. Я не посмотрела в ту сторону. Печать под рубашкой дернулась, словно узнала меня, и я сжала зубы. Сейчас не до нее. Сейчас к смотрителю.

Мост отзывался под ногами сырым гулом, и я торопилась, пока печать не напомнила о себе снова. На середине переправы пришлось остановиться — впереди ехала телега с бочками, и возница не торопился. Я перехватила лямку кленовой коробки поудобнее и почувствовала сквозь клеенку, как под рубашкой снова потянуло влево. Не сильно, ровно, как метроном.

У часовни никого не было. Силуэт, который я видела с крыльца, ушел. На ступеньке осталась примятая солома и темное пятно, будто кто-то долго стоял на коленях. Я не стала смотреть. Сейчас не до того.

До реестровой палаты было десять минут ходьбы вдоль канала. Город уже проснулся: пахло углем, мокрой шерстью и горячим хлебом из пекарни на углу. У ворот лавки Ника стоял его подмастерье и мыл вывеску. Я прошла мимо, не повернув головы, но почувствовала, как он проводил меня взглядом. Слух. Тина вчера обмолвилась в очереди за мукой, и теперь слух полз по Сероводску, как таракан по стене.

Палата смотрителя пряталась за каменной аркой. Я толкнула тяжелую дверь, вошла в узкий коридор с низким потолком и остановилась перед приемной. За стойкой сидел клерк в серой куртке и переписывал что-то из одной книги в другую.

— Мне к смотрителю Брониславу, — сказала я. — По реестру лечебниц.

Клерк поднял глаза, окинул меня взглядом с головы до пояса и снова опустил их в книгу.

— Без записи не принимаю.

— Я по срочному делу, — ответила я. — У меня письмо поверенного гильдии. Срок до полудня.

Он нехотя отложил перо, встал и скрылся за дверью. Я осталась одна в коридоре и прижала локоть к боку, где под рубашкой лежала бумага. Письмо жегло кожу, как второй браслет. Через минуту дверь снова открылась.

— Проходите, — сказал клерк.

Кабинет смотрителя был тесный и холодный. На стене висел реестр лечебниц в тяжелой дубовой раме, под ним — медная чернильница и связка ключей. Бронислав сидел за столом, руки сложены на стопке бумаг. Лицо у него было сытое, недовольное, как у кота, которого разбудили не вовремя.

— Астрид, — сказал он вместо приветствия. — Я думал, мы договорились о слове.

— Слово я держу, — ответила я. — У меня к вам другое.

Я достала из-за пазухи письмо Дарена, развернула его и положила на стол перед ним. Сургуч треснул, когда я надавила ладонью на сгиб.

— Прочитайте, — сказала я.

Бронислав наклонился, прочитал первую строку и поднял глаза. В них мелькнуло что-то похожее на интерес, и я поняла, что он не ожидал такого хода. Смотритель привык, что к нему приходят с мелочью на серебряный, а тут ему кладут на стол записку гильдии.

— Откуда это, — спросил он ровно.

— Поверенный Дарен, — ответила я. — По реестру брачных дел. Копия заверена его печатью.

— Дарен, — повторил он, и я услышала в его голосе осторожность. — Этот Дарен нынче ночует не дома. Говорят, его видели у заднего двора лечебницы у моста.

— Я не знаю, где он ночует, — сказала я. — Я знаю, что у меня в руках бумага, по которой клан Серой Крови не имеет права требовать меня в башню. Развод фальшивый, обряд отречения не проведен, печать жива. По регламенту гильдии поверенных такая запись принимается реестром смотрителя в присутствии двух свидетелей.

Бронислав откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столу.

— Что вы хотите, — спросил он наконец.

— Чтобы вы приняли эту бумагу в реестр, — ответила я. — И выдали мне справку о том, что запись принята. При двух свидетелях. Сейчас.

Он снова посмотрел на письмо, потом на меня, и я видела, как он считает. Если он примет бумагу, клан потеряет право требовать меня через его порог. Если не примет, Дарен уйдет с этой записью в архив гильдии, и тогда клан придет к нему лично, без смотрителя, и спросит, почему реестр города не принял бумагу поверенного.

— Свидетели, — сказал Бронислав сухо. — Кого вы зовете?

Я обернулась к двери. За ней, в коридоре, стояли двое. Клерк в серой куртке и второй — пожилой стражник с бляхой, который зашел погреться у печки палаты. Они слышали каждое слово.

— Эти двое подойдут, — сказала я.

Смотритель поджал губы, открыл медную чернильницу и обмакнул перо. Я стояла, не двигаясь, и чувствовала, как под рубашкой медленно остывает печать. Впервые за два дня она молчала не потому, что он ушел, а потому, что в этом кабинете его голоса не было.

Смотритель выводил строку медленно, по складам, и я слышала, как скрипит перо по гербовой бумаге. Клерк в серой куртке переминался у двери, стражник кашлянул в кулак и подвинулся ближе, чтобы видеть стол. Мне было все равно, как они смотрят. Мне было важно, что в этой комнате впервые за два дня моя печать молчит не от его отсутствия, а от того, что его здесь нет и быть не может.

— Распишитесь здесь, — Бронислав подвинул ко мне лист.

Я взяла перо. Рука была сухой и холодной, как у торговки, считающей чужой долг. Я поставила подпись и увидела, как смотритель скользнул глазами по моему имени. Не по Астрид из Серой Башни, а по Астрид с моста, травница, наемная работница у Марты.

— Справку получите после полудня, — сказал он, присыпая чернила песком. — Сейчас занесем в книгу.

— Я подожду, — ответила я.

Он дернул щекой, но промолчал. Я отошла к окну и стала смотреть на канал. По воде плыла рыба чешуя, у причала стояла чужая лодка с ободраным бортом. Я не видела ни лодки, ни чешуи. Я видела его лицо в ту последнюю ночь в башне, когда он протянул мне подписать бумагу о разводе и сказал, что так будет лучше для всех.

Стук пера оборвался.

— Все, — сказал Бронислав. — Внесли. Справка после полудня в канцелярии.

Я кивнула и взяла свою копию записи. На обратном пути к двери печать под рубашкой качнулась, как маятник. Не сильно, ровно, словно где-то за стеной кто-то встал и пошел в мою сторону. Я остановилась и сжала локоть. Стражник посмотрел на меня настороженно, клерк отвел глаза.

— Все в порядке, — сказала я коротко и вышла в коридор.

У ворот палаты меня ждал Ленни. Он стоял у фонарного столба, прижимая к груди узелок с хлебом, и смотрел на меня так, будто я обещала вернуться к определенному часу и почти опоздала.

— Тетя Астрид, — сказал он, — там, у часовни, дядька стоит.

Я остановилась.

— Какой дядька.

— Высокий, в темном плаще, — сказал Ленни, жуя хлеб. — Я мимо шел, а он у ставни. Я ему пирожок понес, а он не взял. Сказал, ему нельзя чужой хлеб.

Я присела перед ним и взяла его за плечи.

— Спасибо, — сказала я. — Иди к Марте. Скажи, что я иду.

— А дядька, — спросил он, — это ваш?

Я остановилась на середине моста и положила ладонь на перила. Камень был холодный и мокрый, под рукой дрожала мелкая рыба чешуя, прибитая к граниту течением. Я сжала пальцы и закрыла глаза, чтобы не видеть, как он выходит из-за угла часовни. Печать под рубашкой тянула к нему ровно, не больно, а так, как тянет обратно в собственную постель, когда ты уже встал и оделся, а тело все равно помнит, где ему было тепло. Я ненавидела эту ровность.

Шаги были мягкие, не человеческие. Я узнала бы их и глухой, по тому, как он ставит ногу на камень, с пятки на мысок, будто каждый шаг стоит ему монету.

— Не подходи ближе, — сказала я, не оборачиваясь.

Он остановился. Я слышала, как за его спиной шевельнулся плащ и как он вдохнул запах реки, словно проверял, не пахнет ли мной.

— Я не к тебе, — ответил он. — Я к лавке.

Я повернулась. Он стоял в трех шагах, в темном дорожном плаще, лицо серое, скула ободрана и подсохла темной коркой. Глаза провалились, как у человека, который не спал две ночи. Я впервые увидела на нем не парадный кафтан Серой Башни, а чужую одежду с чужого плеча. На воротнике висел чужой запах дешевой шерсти и чужого мыла. Не Ингрид, просто чужой.

— Лавка закрыта до полудня, — сказала я. — Я только что от зрителя.

Он чуть дернул бровью, и я поняла, что он не знает, зачем я ходила к Брониславу. Это было хорошо. Пусть не знает. Пусть считает, что я просто отдала прачкой за отметку, как обещала. Я не собиралась показывать ему запись гильдии, пока он не отдаст мне свой долг публично, а не шепотом у часовни.

— Я принес человека, — сказал он. — Как обещал.

Я оглянулась. За его спиной, у парапета, стоял мальчишка лет пятнадцати в серой куртке подмастерья, с тощим узлом через плечо и синяком под глазом. Он смотрел на меня испуганно, как смотрят на лекаря, когда боятся, что осмотр будет больнее раны.

— Это Ларс, — сказал Каэл ровно. — Подмастерье кузнеца. Умеет мыть котлы, носить воду и молчать. Больше от него ничего не требуется.

Я перевела взгляд с мальчишки на Каэла. Подмастерье кузнеца. Не из его клана, не из дома Вельт, просто городской мальчишка, которого привели за серебряный. Я поняла, что он сделал это ночью, пока я спала. Пока я носила копию записи к Брониславу, он ходил по городу и покупал мне работника за серебряный, потому что я вчера поставила ему условие мыть котлы, а сам он мыть котлы не мог, ему нельзя было заходить под кров лечебницы.

— Ларс, — сказала я мальчишке. — Ты хочешь у меня работать?

Он кивнул, не поднимая глаз.

— Сколько платит кузнец, — спросила я.

— Полтинник в месяц, — ответил мальчишка тихо. — И стол.

— У меня полтинник и стол, — сказала я. — Плюс крыша. Пойдешь?

Он снова кивнул.

Я посмотрела на Каэла. Он стоял ровно, руки вдоль тела, и я видела, как он сдерживает себя, чтобы не шагнуть ближе. Печать под рубашкой дрогнула, словно отозвалась на его усилие.

— Спасибо за мальчика, — сказала я. — Серебряный за него я тебе не должна. Это твоя плата за то, что ты два дня стоял у часовни, пока я была у смотрителя. Больше никаких подарков без спроса.

— Астрид, — начал он.

— Не сейчас, — перебила я. — У меня в лавке очередь. Марта ждет.

Я повернулась к Ларсу и протянула ему руку. Он посмотрел на мою руку, потом на мое лицо, и я увидела, что он понимает больше, чем положено подмастерью кузнеца. Я взяла его за плечо и повела к мосту, и печать под рубашкой качнулась назад, как отпущенный поводок.

Я сделала три шага и остановилась.

— Ларс, — сказала я, не оборачиваясь к Каэлу. — Если дядька в темном плаще подойдет к лавке ближе чем на десять шагов, ты забудешь, как тебя зовут, и пойдешь в кузню. Понял?

— Понял, — ответил мальчишка.

Я пошла дальше. За спиной я слышала, как Каэл медленно втянул воздух и как его шаги отступили назад, к часовне. Не к лавке. К часовне, где он стоял, потому что больше ему некуда было встать.

Я перешла мост, не оглядываясь. Под рубашкой печать горела ровно, не больно, а так, как горит остывший уголь, когда в него подули. Я знала, что он смотрит мне в спину. Я знала, что он считает мои шаги. Я тоже считала. Десять шагов до лавки, девять, восемь. На восьмом печать стихла. Не потому что он ушел, а потому что я перестала его слушать.

У двери лавки стояла Марта с кочергой в руке и смотрела на меня так, будто ждала этого с самого рассвета.

— Это кто, — спросила она, глядя на Ларса.

— Подмастерье, — ответила я. — Будет мыть котлы и носить воду.

— А тот, у часовни, — спросила она тихо.

— Тот у часовни, — повторила я, — стоит у часовни.

Я вошла в лавку и закрыла за собой дверь. Запах сушеных трав, камня и теплого хлеба ударил в нос, и я поняла, что впервые за два дня у меня в доме есть лишний человек, которого я сама выбрала.

Я сняла плащ, повесила его на гвоздь у двери и пошла к прилавку. На прилавке лежала записка от булочницы и три медных монеты за вчерашний змеевик.

Я взяла монеты в руку и сжала. Теплые, чужие, заработанные.

Это были мои первые деньги в этом городе.

Странное дело — запах его плаща я узнала раньше, чем слышала шаги. Не вампирская сырость и не железо, как у стражников, а мокрая шерсть и сухой дубленый запах кожаной сумки. Я стояла на мосту и не двигалась, пока он не остановился в трех шагах. Свет фонаря падал ему на скулу, и я впервые увидела, как устало он выглядит без маски наследника.

— Ты пришла, — сказал он тихо.

— Я здесь потому, что печать не дает мне уйти, — ответила я, и собственный голос показался мне чужим, слишком ровным.

Он чуть двинул подбородок, соглашаясь. Я смотрела на его руки — пальцы без перстня, большой палец левой руки сбит до белого, и на запястье, где у вампиров брачная метка, кожа светлее, будто там что-то сняли не до конца.

— Покажи руку, — сказала я прежде, чем успела подумать.

— Астрид...

— Я целительница. Покажи руку.

Он медленно поднял левую ладонь. Метка — тонкий полумесяц, вбитый в кожу, как клеймо, но не со смолой, а живой, темнеющий к центру. Я знала такие: ставят при первом

обряде, чтобы кровь жены знала дорогу к мужу. Я сама когда-то носила такую же, пока не сожгла полотенцем, в котором была ее кровь.

— Она еще тянет? — спросила я.

— С тех пор как ты ушла, тянет сильнее.

Я достала из кармана передника баночку с мазью из сушеного змеевика и белого воска, капнула на палец. Не глядя на него, потому что если смотреть, я не смогу.

— Будет холодно, — сказала я и приложила палец к метке.

Печать под рубашкой дернулась, будто кто-то рванул за леску, и я стиснула зубы. Боль отдавала в плечо и в локоть, но я не убрала руку, пока метка под моими пальцами не посветлела, не съезжилась до тонкой полоски. Он молчал, и только когда я убрала руку, выдохнул.

— Это не разрыв, — сказала я, вытирая палец о подол. — Просто я забрала у нее часть силы. Хватит на час.

— На час, — повторил он, и я услышала в голосе что-то похожее на благодарность.

— Иди в подсобку. Ленни тебя не тронет, если ты не тронешь его.

Он кивнул и пошел первым, и я смотрела ему в спину, пока он не свернул за угол. Печать под рубашкой ныла, но не рвалась. Я подождала, пока уйдет дрожь, поправила плащ и пошла обратно.

У лавки Марта ждала меня с полотенцем.

— С тобой все хорошо? — спросила она, не глядя на меня, а на мое левое запястье, где под тканью белела полоска моей старой метки. — Ты бледная.

— Устала, — сказала я. — Там, на мосту, пришлось задержаться.

Она ничего не сказала. Только подала мне полотенце и кружку с теплой водой, в которой плавала веточка мяты. Я выпила, не чувствуя вкуса, и пошла в подсобку.

Каэл сидел у стены, там, где я ему указала. Перевязь сбилась, и я увидела, что рана на боку снова открылась — ткань пропиталась красным, но по краям, где была моя мазь, кожа уже порозовела. Он смотрел на меня, и в его глазах не было ни страха, ни приказа — только усталость и какая-то осторожная пустота, которой я раньше у него не видела.

— Сними рубашку, — сказала я.

— Астрид...

— Я сказала — сними.

Он стянул рубашку через голову, поморщившись, и я увидела, что он похудел. Ребра проступали под кожей, и старая рана на боку — там, где клан поставил ему свою метку, — была располосована свежей полосой. Я достала чистую повязку и мазь.

— Ты знал, что метка сядет глубже, когда ты войдешь в мой дом, — сказала я, разматывая бинт.

— Знал.

— Тогда зачем пришел?

Он помолчал, глядя в стену.

— Потому что без твоей крови метка сожрет меня за неделю. А с твоей — может, за месяц.

Я замерла с повязкой в руке. Это была правда, которую я знала и которой боялась: метка, поставленная кланом, питалась кровью того, кто ее отметил. Если уйти далеко, она начинала жечь. Если подойти ближе — затихала. Если дотронуться до крови того, кто когда-то был связан, — на время уйдет совсем. Но я дала себе слово больше не давать ему своей крови. Ни капли.

Писец поднял перо. — Я не дам тебе крови, — сказала я.

Радан не перебил. — Я не прошу, — ответил он тихо.

Я наложила мазь на рану, перевязала чистым бинтом и затянула узел. Мои пальцы случайно коснулись его кожи — холодной, чужой, но знакомой до тошноты.

— Я вылечу рану, — сказала я, убирая руки. — Но больше не приходи ко мне на мост. Если метка потребует крови — пусть требует у клана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.